П. П. БАЛАКШИН

ВЕЧЕРА НА ПАСИФИК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ П. П. БАЛАКШИНА

Том VIII

ВЕЧЕРА НА ПАСИФИК



Книгоиздательство СИРИУС
Сан Франциско — Нью Йорк — Париж — Торонто

THE EVENINGS ON PACIFIC STREET

by PETER BALAKSHIN

By the same author:

A TALE OF SAN FRANCISCO
SPRING OVER FILMORE STREET
RETURN TO THE FIRST LOVE
THE PLANNERS
FINALE IN CHINA, vol. I
FINALE IN CHINA, vol. II
THE LIGHT OF FLAME

Historical monographs for the US Government:

SOVIET-AMERICAN RELATIONS IN THE FAR EAST
WAR CRIME TRIALS, Class C
AIR DEFENSE OF JAPAN

Того же автора:

ПОВЕСТЬ О САН ФРАНЦИСКО
ВЕСНА НАД ФИЛМОРОМ
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПЕРВОЙ ЛЮБВИ
ПЛАНИРОВЩИКИ
ФИНАЛ В КИТАЕ, том I
ФИНАЛ В КИТАЕ, том II
СВЕТ ПЛАМЕНИ

По-английски для правительства США

СОВЕТО-АМЕРИКАНСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
СУД НАД ПРЕСТУПНИКАМИ ВОЙНЫ, ТОКИО
ВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА ЯПОНИИ

1981

Printed in the United States of America
by Globus Publishers, San Francisco, California

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЛИСТ СКЕТЧЕЙ ТУШЬЮ

Скетчи тушью
работы
Автора

КОНКВИСТАДОРЫ

В гостях у «Западного Пилота»

Капитан норвежец поднял воротник толстого светра и натянул туже на голову вязанку; кто-то крикнул с берега, но капитан потянул за гудок — и «Западный Пилот» залился долгим ревом, создав с ответными гудками с других рыбачьих баркасов оглушительную симфонию.

«Западный Пилот» задрожал, за кормой забурлила вода; кто-то еще раз крикнул с берега, стараясь перекричать гудки и торопясь передать на борт ящики с двумя десятками чуть не забытых галонов красного калифорнийского вина.

Над Сан Франциско зажглись огни и наступившие сумерки выделили ярче полыхание неоновых реклам. В вечернем свете город поднялся ещё выше на своих величественных холмах.

— Вот так задует с океана, никак не выйдешь из Золотых Ворот! — заметил один из русских рыбаков, компаньон дорогостоящего рыбачьего баркаса. — И назад не свернешь, перекинет! И вперед никак! Может, еле, еле... Наш то выгребает, — добавил он с хозяйской гордостью, блеснув довольно скулами, — а другие...

В середине пролива Золотых Ворот надвинулись красные огни огромного быка строящегося Голденгейтского моста. За ними выплыл маяк, слева утесы Линкольн Парка с музеем Почетного Легиона, дворец Ветеранского госпиталя, утесы, носящие название «Конец земли», и наконец открытое серебро застывшего под полной луной Тихого Океана. «Западный Пилот» берет курс на юг мимо Тюленьих скал, вдоль парка Сутро, с эспланады которого в мраморном очаровании уставились в простор Тихого Океана античные фигуры; вдоль берега, ослеп-

ленного потоком миллиарда огней увеселительных мест с гигантскими горами, каруселями, грохочащими поездами, низвергающимися с ошеломляющих крутизн в пропасти, с вертящимися аэропланами, оставляющими за собой сверкание метеоров.

«Западный Пилот» набирает скорость; через 36 часов конечный пункт — Сан Педро, порт Лос Анжелеса.

* * *

Тихий Океан полностью оправдывает название: величественная серебряная ткань покоя; в расстоянии десяти миль — гористые очертания берега, огни селений, ферм, городов.

Один из рыбаков, астраханец, сидит на мостике; он рад компаньону, рад поболтать о своем житье-бытье, вспомнить Волгу, Астрахань. Штурвал при посредстве электрического аппарата сам держит курс, и вся обязанность астраханца сводилась к поглядыванию по сторонам и неторопливому свертыванию «козьей ножки». Он рассказывает о своем промысле — рыба его жизнь — о ночной ловле сардины, которая идет так густо, что рвет невод, о многих днях далеко в океане в поисках за косяками рыбы, о бурях, ледяном ветре, о тяжелой работе в течение нескольких суток, связанной, как у игрока, с полосами счастья и невезения. Его язык сочный, с отменной точностью («это у собаки хвост, а у рыбы махалка»).

В некотором смысле «Западный Пилот» — небольшая «лига наций»: на десять человек совладельцев представители чуть ли не всех европейских стран. Особенность «Западного Пилота» его своеобразный вариант английского языка, безмерно обогативший язык короля Джеймса; это астраханско-норвежско-неополитанское наречие полно неожиданностями и понимается только после некоторой привычки к нему.

Весна творит чудо над калифорнийским берегом; его холмы, обычно цвета липового меда, вытканы обильны-

ми мартовскими дождями в роскошный цветной ковер. Цветут червонным золотом калифорнийские маки в перемежку с белыми чашечками примрозы в пурпурово-фиолетовых полосах вербены, золотится ткань диких кореопсисов среди сиреневых, голубых люпинов, красных «индейских кистей», ромашки, — и с этих пестрых полей восточный ветер несет благоухающий аромат прекрасной калифорнийской весны.

В океане играют дельфины, то несясь стрелой перед баркасом, то сворачивая в сторону и гоняясь друг за другом в суживающихся кругах, и сквозь пенистый след их стремительного кружения высовывается тюлень, почти совсем садясь на широкий хвост и поворачивая из стороны в сторону свою смешную голову в живом интересе к игре дельфинов, к пеликанам, обучающих птенцов ловить на лету рыбу, к пыхтящему баркасу с разморенными под горячим солнцем людьми.

Рано утром, после приятнейшего дня в океане, когда нас нагнал «Президент Хувер», океанский пароход из Сан Франциско, «Западный Пилот» подходил к мысу Винсент, где открывался вход в бухту Сан Педро.

* * *

Воскресенье. Электрический поезд до центра Лос Анжелеса, около 20 миль, идет сплошным городом; основанный у русла высохшей реки, он за сто пятьдесят лет существования разросся больше чем в сто пятьдесят раз, захватив внушительную площадь в 500 квадратных миль от Сан Бернардинских гор со снеговыми вершинами до берега Тихого Океана.*

Негритянки в белых платьях и чепцах, с библиями в руках, в сосредоточенном религиозном экстазе. Ничто не отвлекает их: ни быстро несущеяся за окнами панорама, ни шумная толпа на частых остановках, но грех

* Эти данные относятся к тридцатым годам, когда была написана эта статья.

— дело другое. Одна из них решительно встала с места и открыла дверь в соседнее отделение.

— Вас надо бы по настоящему испепелить в огненной геене за курение!

Город Царицы Ангелов

С обсервационной площадки двадцать пятого этажа Сити Холл'а виден весь этот замечательный город, пышный жемчужный сад, выросший по волшебству на серой чешуе пустыни!

Санта Моника, Венис, Редондо, Лос Буенос Айрес, Альхамбра, Палисейд, Плейя дель Рей, Пасадина, Хермоза, Сан Фернандо — сладкая музыка имен, певучий припев городу с длинным звенящим названием: Эль Пуебло де ла Рейна де Лос Анжелес, или Нуестра Сеньёра де Лос Анжелес де Порсиункула!

Здесь, у подножия Сити Холл лежит его история. Оттого и поют эти названия звонкой кастильской, севильской, каталонской музыкой, что в неутомимых поисках фантастического Эльдорада ради неувядающей славы Его Католического Величества Короля Испании по калифорнийской земле, пескам, медового цвета холмам прошли конквистадоры.

Совершая благодарственную мессу у пересохшего русла реки, думал ли францисканский монах о необычайном будущем только что освященного места для поселения! Возникла бы у него мысль о сорока этажах гранита, стали, цемента, бронзы и стекла, вскинутых над пятистами квадратных миль города?

Падре освятил это место, одну из многих остановок на долгом пути великих открытий ради славы небесной и славы земной...

Земная слава, даже Его Королевского Величества, не интересовала его. Небесная — он жил ради неё!

При отряде было два падре; история сохранила имена их: падре Крести и Гомец. Один из них был начитан

в делах и житиях святых отцов и день прибытия — 2-го августа — приурочил к этому же дню в итальянском городке Порсиункула, где впервые в маленькой церкви Владычицы Ангелов послышалось пение ангелов. Он рассказал и о святом Франциске Ассиском, услышавшем это пение в ней и посвятившем свою жизнь другому служению.

Слова начитанного падре умиляли отряд каталонов; образ св. Франциско, молящегося в церкви Царицы Ангелов под сладкое небесное пение, захватывал их, он был их патроном, а Владычица Ангелов, «Нуестра Сеньёра» их доброй покровительницей на всем пути от Испании до Вера Круз, оттуда через мощные горные перевалы, мимо дышащего огненной лавой Попокатепетла до столицы Мексики, через загадочную страну Монтезумы и страшных ацтекских богов, — вперед, вперед по «Эль Камино Реаль».

Каталоны были утомлены; они ещё хранили зной сонорской пустыни; дубленая оленья «cuero» теснила их грудь, мушкеты, аркебузы, длинные копья оттягощали их, но впереди была легендарная Эльдорада!..

На другой день после освящения пуебло каталоны двинулись дальше на север. Впереди был высокий горный перевал Кахуенга, справа отроги Сиерра Мадре, слева простор Тихого Океана. Накануне, как в тяжелых муках, корчилась земля, судороги продолжались с добрую половину «Аве Марии»; по дороге им попадались лужи бурой маслянистой жидкости, которую они принимали за охлажденную лаву. Они осторожно обходили их, не зная, что в недалеком будущем на этой «лаве» будет созидаться баснословное богатство стран, что она будет дороже своего веса в человеческой крови, которая обильно прольется ради неё, что она породит чудовищную силу и будет кормить невероятные скорости, что она, как «черное золото», засверкает драгоценнейшим камнем в короне города Царицы Ангелов!

Эти конквистадоры шли с юга по пути, по которому в древнейшие времена, унося в памяти крови запах тибетских нагорий, монгольских трав и цвет ослиного паха гобийских песков, проходили полчища многочисленных племен, оставивших по себе имена майя, толтеков, ацтеков и многих других, затерянных мятущимся ветром истории.

Конквистадоры шли навстречу новым ветрам, раздувавшим червонное золото королевского штандарта. Флаги! Их было много за столетие на «Эль Камино Реаль». У индейских костров племени Янг-на, у вигвама вождя, знахоря и кудесника висели серо-голубые полотнища. Каталоны пронесли свой штандарт с черным крестом на красно-золотой парче. Затем бело-зеленый флаг Мексики, белый, как снег на Оризаба и зеленый, как лист распустившегося маиса. Затем звезды на синем поле над красно-белыми полосами американского флага. И в угрожащей близости — бело-сине-красный флаг Российской Империи Александра I, развевавшийся с полвека к северу от Сан Франциско, куда вела «Королевская Дорога».

За конквистадорами пришли первые поселенцы. С ними прибыл губернатор Филипе де Неве, и королевский штандарт нес сержант Наварро. Сержант был баск; к солнцу, как в Калифорнии, он привык; Сиерра Мадре могли легко сойти за Пиренеи. Ветер с гор нес аромат шалфея и диких цветов.

Баск был доволен. Был доволен и губернатор, слагавший в уме обстоятельный доклад вице-королю Мексики де ла Круа в расчете, что щедрая рука Его Королевского Величества не оставит без милости.

Были довольны и падре. Миссия Сан Габриель в десяти милях уже была хорошо налаженным хозяйством и продукты благословенной земли, вплоть до вина из при-

вившихся малагских лоз, не оставляли желать ничего лучшего. После небольшой фиесты со стрельбой из аркебузов, сержант свернул королевский штандарт, снял каталонский мундир и принялся на волах распахивать землю. Индейцев «обратили» ещё раз, заставив их на голых ляшках высушивать на солнцепеке черепицы для новых построек. Других индейцев послали в лесной каньон под началом Хозе-англичанина, янки из Новой Англии, захваченном вместе с аргентинским пиратским корветом.

Хозе-англичанин оказался искусным плотником, построив на «плаза» пуебло церковь во имя «Нуестра Сеньёра де ла Рейна де Лос Анжелес». Она стоит и поныне, в двух кварталах от Сити Холл, в центре мексиканского города, всегда полна ревностными католиками от бронзово-табачных мексиканцев до рыжих ирландцев.

* * *

С полвека жизнь поселка шла не взволнованная ничем. Были слухи о возможном захвате Калифорнии другими державами; на севере от Сан Франциско русские с Аляски захватили огромные земли и основали крепость у устья реки Славянка, что не могло не обеспокоить испанские власти.

Опасения испанцев не оказались напрасными. Другие конквистадоры готовили путь в страну Эльдорадо. Опередив события на четыре года, коммодор Джонс, командовавший тихоокеанской эскадрой, по слуху, что Соединенные Штаты объявили войну Мексике из-за раздора по поводу территории Техаса, захватил Лос Анжелес. Через чур ревностный коммодор понял свою ошибку, но было поздно! Губернатор Калифорнии Микельторена заметал громы, засыпая злосчастного коммодора проклятиями и клянясь последней каплей крови испано-мексиканского солдата выбросить непрошенных пришельцев в океан. Но после некоторого раздумья, он готов при-

нять личное извинение, если коммодор срочно доставит 50 новых форм для губернаторской гвардии, полный набор духовых инструментов для оркестра, чтобы отпраздновать фиесту, и 15 тысяч долларов.

Коммодор припес извинения, но на счет другого у него не было полномочий. Кроме того, его морякам, протрясшимся на полудиких мустангах 100 миль от Сан Диего до Лос Анжелеса, было не до празднества.

Неизбежное стало неизбежным! Еще раз под каштанами и перцовыми деревьями «плаза» прошли конквистадоры, и камни её запели новой песней под тяжелыми сапогами бородатых янки.

Мексиканские войска под командованием генералов Флореса и Пико готовились за городом дать бой федеральным отрядам генерала Кёрни и коммодора Стоктона, но с севера через перевал Кахуенга подходили части Фремонта-следопыта, искушенные в стычках с индейцами. Дробь барабанов рассыпалась по улицам пуебло.

Судьба Калифорнии была решена. Лос Анжелес переворачивал новую страницу истории.

* * *

...Человек с седой головой, седыми усами и бородой кладет руку на перила обсервационной площадки; его глаза задумчиво обводят крыши лежащего внизу города.

Карлос Прюдом, рожденный вблизи «плазы» за год до появления американских войск, официальный гид Сити Холла, живая история этих красочных мест.

Он смотрит на купы платанов, каучуковых и перцовых деревьев, поворачивает ухо, словно слыша двухвековую поступь конквистадоров, рокот гитарных струн, живую дробь кастаньет, шум веселой праздничной толпы на Алвера, этой Эль Пасео де лос Анжелес.

Там в одно и то же время и улицы Севильи, и часть древней столицы Монтезумы — Тенохтитлан, ныне Мексико-Сити, и сборное место ацтекского поселения...

Дон Карлос Прюдом обводит глазами неочерченные границы мексиканского города с населением в 400 тысяч (второго по величине после Мексико-Сити, хотя он находится в ста с лишним милях от мексиканской границы); на юг от него — город тысяч молокан, прыгунов, тайных хлыстов и других сектантов, выехавших из России в конце прошлого столетия.

Справа, ближе к Мейн стрит, «улице тысячи чудес», расположен японский город; недавний приезд принца Такаматсу, совершавшего свадебное путешествие, вывел на улицы всё 65-тысячное население, с японскими школьниками, махавшими флажками на всём пути в полтора десятка кварталов от станции до отеля.

Тут же китайский город с типичными постройками, пагодами, драконами над ресторанными входами, с войнами между различными «тонгами». В семидесятых годах прошлого столетия на его улицах «анжелоны» разыграли варфоломееву ночь, вырезав несколько десятков китайцев, вызвавшую проведение закона о запрещении китайской иммиграции. У мексиканцев с китайцами хорошие отношения; нередко пеонка считает за счастье иметь мужа китайца: «эль чино» работоспособен, трудолюбив и чадолюбив и не страдает обычными пороками пеона. Дети китайских отцов откликаются на имена Хозе, Езус, Доминик и Чекита.

У начала Мейн стрит стоит одно из старинных зданий — Бэйкер Блок, построенное по образцу парижского Hotel de Ville; теперь там находится магазин благотворительной организации типа Армии Спасения. Но некогда там блистала пышная жизнь, царствовали красивейшие женщины и среди них одна из первых звезд, оставившая неизгладимый след у Карлоса Прюдома, Донья Аркадия...

* * *

Громадный солнечный шар приближается к голубой парче Тихого океана, играя отблеском на бронзе и чер-

ном мраморе небоскреба Ричфильд Ойл, на стеклах феникюлера, ползущего к горе по Олив стрит. В надвигавшихся сумерках теплее засверкали радужные переливы перламутра стен лос анжелевского туннеля, и кажется, что несущиеся автомобили теряются в сверкающем свертывании гигантской морской раковины.

Солнце уже касается церковных шпилей фешенебельного West Adams Street, этого лос анжелевского варианта Faubourg St. Germain.

С высокого берега Санта Моника видно, как огненный шар опускается в океан и — кажется, что в то же мгновение всплывает вновь. Ало-малиновый закат разливается по небу, бледно зарозовевшему на востоке, и на его прозрачном акварельном фоне резче выделились темные массивы Сиерра Мадре и Санта Каталины со снеговыми вершинами Сан Гордонио и Сан Хасинто.

В густеющих сумерках город засверкал милионами огней. Голубой меч авиационного маяка над Сити Холл разсек гаснущее небо. Над сумеречным силуетом Монт Холливуд и Цейссовским планетарием зажглась звезда.

Когда над Холливудом зажигаются звезды...

* * *

В двадцатом столетии пришли новые конквистадоры, о возможности которых не могло присниться даже в самом невероятном сне ни францисканскому монаху, ни каталонскому солдату.

Новые конквистадоры не пришли пешком, не приехали в крытых фургонах, и их имена звучали обыденными по сравнению с именами Кабрильо, Хуниперо Серра, Ривера и Монсада, Хуан Бандини! Но новых конквистадоров — Селига, Самуила Голдвина, Вилииамса Фокса, Луиса Майера — влекла не менее неотразимая сила завоевания и славы.

В 1902-м в Лос Анжелес Таймс появилось объявление: «Электрический театр, новое в мире достижение! Послед-

нее достижение движущихся картин! Особый интерес для женщин и детей! «Поимка братьев Биддл». «В метели». «Нью Йорк» и много других захватывающих сцен. Час развлечения и небывалого удовольствия за 10 центов».

Впервые в Лос Анжелесе Томас Талли показал кинематограф, как нечто самостоятельное. До этого различные биографы, кинескопы, никеледомы были связаны с паноптикумами и другими подобными развлечениями

Талли первый увидел, что судьба кинематографа была не в коротких кусочках двигавшихся лент, показанных за гроши на народных гуляниях, а в большом серебряном экране, магическом отражении жизни.

Новшество поразило анжелонов. На следующий день Талли объявил о матинэ для детей по 5 центов. Дела пошли ещё успешнее. Через несколько дней Талли назвал программу своего электрического театра «Водевилем движущихся картин, продолжавшихся час».

Программа шла полтора месяца, после чего Талли объявил о полной смене. Новинки показались ещё более заманчивыми: «Грандиозный бой быков перед президентом Диазом в Мексико Сити. Полет Мели на луну. Путешествие Гулливера. Царство фей».

* * *

Пять лет после открытия первого кинематографа, чикагская студия Селига послала своего директора и его помощника, исполнявшего обязанности съемщика, бутафора, управляющего и ряд других должностей, в Лос Анжелес в поиски света и теплой погоды.

Студия ставила одноактную картину «Граф Монте Кристо». Внутренние сцены были сняты в Чикаго; для наружных выбор пал на Лос Анжелес. Финансовые соображения не позволяли везти с собой труппу, уже игравшую в картине; новых исполнителей было решено набрать на месте. То, что состав был разный не смущало никого.

Но в Лос Анжелесе их ждало разочарование: никто не соглашался работать с ними. Наконец после долгих поисков им удалось найти изголодавшегося гипнотизера в прогоравшем паноптикуме. Гипнотизеру было все равно, что делать; о кинематографе он ещё и не слышал. К заглавной роли он подходил. Сделка состоялась.

Гвоздем картины должна была быть сцена появления графа Монте Кристо из воды. Директор снабдил гипнотизера белым париком и соответствующим костюмом; мастер на все руки съемщик загримировал его. Для сцены они выехали на берег Тихого Океана.

Когда граф вошел в воду и съемщик готов был крутить камеру, громадная волна прикрыла его с головой и вопреки ожиданиям изнуренный недоеданием гипнотизер не появился на поверхности. Всплыл только парик, уносимый волнами в океан. Это совсем не входило в сценарий.

— Эй! — крикнул съемщик директору, — я внес десять долларов задатку за парик!

Гипнотизера спасли после того, как сам директор бросился в воду, чтобы вытащить ценный парик. Это было началом лос анжелесской кинематографической промышленности, в короткое время завоевавшей мировое значение.

* * *

Когда в поезде между Сан Педро и Лос Анжелесом негритянка-начетчица хлопнула дверью вагона для курящих с гневными словами: «Вас надо бы испепелит в огненной геене за курение», она определила ещё одну особенность Лос Анжелеса: религиозное ханжество.

Одной из самых ярких представительниц этой особенности была проповедница-евангелистка Эйми Мак-Фирсон. У неё был свой храм на полпути между Лос Анжелесом и Холливудом, но она часто разъезжала «по епархии». Когда она возвращалась в Лос Анжелес, её встреча-

ли толпы народа, представители города, наряд полиции, духовые оркестры, возы цветов. В то же самое время в городе происходил ряд скандальных процессов, главным действующим лицом которых была эта проповедница.

Верхом этих скандалов был разбор дела о её таинственном исчезновении. Эйми Мак Фирсон утверждала, что она была похищена и увезена в Мексику. У прокурора были неопровержимые данные, что она скрывалась со своим радио-оператором в Кармел, в 70-ти милях от Сан Франциско.

Поиски её стоили больших денег и несколько человеческих жизней. Суд длился долгое время и обошелся евангелистке и её храму — весьма доходному месту — не в малую копеечку.

После странного окончания дела — оно было прервано накануне ожидаемого вынесения приговора проповеднице — был суд над судьей, уличенным в получении взяток от евангелистки.

За все время скандального процесса она позировала у себя в храме во время так называемых богослужений перед крестом с распростертыми руками, как при распятии; тут же на платформе стояло ведро с грязью — символ того, что её,сестру Христа, также порочат и унижают.

Среди более тихих дел, также привлекших внимание лос анжелесской прокуратуры, были махинации с земельными участками и церковными деньгами, драка проповедницы с матерью, во время которой у последней был переломлен нос, и другие подобные художества.

Не менее знаменитой оказалась и её шестидесятилетняя мать, особенно после выхода замуж за человека, моложе её чуть не втрое, и ликующего восклицания на следующее утро: «Ах, что за мужчина!»

В её храме в часы служб собиралась тысячная толпа, подверженная в равной мере религиозной истерии и явному обрабатыванию. Особенно это происходит во время обряда исцеления. К этому моменту аудитория достаточ-

но наэлектризована, чтобы любую выдумку изобретательной проповедницы принять за Божий промысел. Драматическим движением Эйми Мак Фирсон простирает руки: «Прийдите ко Мне все недугующие» медленно произносит она. Мольба и приказание звучат в её теплом, вибрирующем голосе. Раздаются громкие рыдания. Ликующим гимном рванул оркестр. В проходе показалась процессия «недугующих», хромых, расслабленных, слепых, эпилептиков. Эйми закатывает к небу глаза, кладет руку на голову каждого — и чудо исцеления совершается: хромые отбрасывают костыли и шагают бодрой, парадной походкой; слепые протирают умиленно глаза и сбрасывают с кончиков пальцев воображаемую пелену слепоты; эпилептики — картина пышащего здоровья, достойная рекламного показа на телевизорных экранах. Под рев религиозного экстаза: «Аллилуия» и духового оркестра «исцеленные» спускаются в подвал, где встают очередью перед кассиром, выплачивавшим им, в зависимости от разыгранной роли, от трех до пяти долларов.

Иногда служба происходила по программе «Маяк», яркий свет во тьме, направляющий корабли в тихую гавань, сиречь заблудшие души в храм Эйми Мак Фирсон. На сцене меняются декорации, вместо креста маяк, появляются спасательные пояса; на капитанском мостике самоотверженная проповедница в адмиральской форме, остальные из её причта в морских формах рангами ниже. Обычно она служит в белом платье с накидкой на малиновой подкладке.

Театральная сторона доведена до совершенства. На сцене она была бы незаурядной актрисой со всеми данными для этого: внешностью, драматическим даром, голосом, от которого плавятся сердца и руки бросаются за кошельками. Чего стоит только один призыв перед сбором денег: «Я не хочу видеть серебро, это напоминает 30 сребреников, за которые был предан мой Брат»! — и на церковные подносы летят бумажки и золото.

Когда над Холливудом зажигаются звезды

И — наконец Холливуд!

Здесь царство только одного кинематографа, сладкой мечты и самообмана, чарующей сказки о коронации на шатком иллюзорном троне, о двойнике, ожившем увлекательной жизнью на серебряном экране!

Увы, прекрасная мечта сбывается лишь для немногих счастливчиков — и потрясающее количество красавцев и, в особенности, красавиц, работающих в ресторанах, кафе, в десятицентовых магазинах, мастерских, прачечных свидетельствует о жесткой стороне жизни и горьком разочаровании.

Красивые женщины на каждом шагу. Черноокие, синеокие, золотисто-волосые, темно-гривые, всех мастей и оттенков, со всех частей земли они стеклись сюда неотразимым зовом.

Почти у всех у них одна и та же история: первый успех на любительской сцене, первое опьянение крошечной славой, рассказы о легендарных успехах кинозвезд, читанные в дешевых журналах, оставление родного гнезда с небольшим чемоданчиком и большими надеждами.

Первое головокружение от Холливуда, волнующее сознание, что «я часть его». Поиски, встречи «с нужными людьми», чтобы пробиться в киностудии, с юркими проходимцами, двенадцатыми помощниками директоров, прыткими молодцами из студийных костюмерных, электро-монтерами, плотниками из студий, со всем этим сердобольным народом, готовым помочь доверчивой девушке стать кинозвездой первой величины.

Конечно, милосердие милосердием, но не надо забывать о реальных фактах жизни: надо раскошеливаться, ничего не поделаешь! Если не осталось в сумочке, приходится платить другим! Ничего не надо жалеть ради золотой мечты! Надо стараться и ждать, закрывать глаза на кое что!

Даже если работа в прачечной, ведь это временно, до первой удачи. Пока же надо терпеть, как надо терпеть, правда, с омерзением, этого кавалера и сукиного сына, франта в фланелевых брючках, младшего братца третьего помощника костюмера киностудии, заверившего доверчивую душу, что при его влиянии он может сделать всё ради её славы и блестящего будущего. Вот он стоит у входа фешенебельного ресторана, в котором «будущая кинозвезда» стравила свой недельный заработок на дорогой обед, пережравшись и перепившись, у цветочной клумбы, скрючившись над ней в судорогах рвоты.

Город наикрасивейших в мире женщин, исторических персонажей-двойников и всевозможных монстров! Кого только не встретишь на бульварах Холливуда! Двойники Наполеона, Линкольна, Савонарола, трагическое лицо Шарлотты Кордэ! У всех у них та же маниакальная вера в то, что и они понадобятся, что и им улыбнется счастье.

* * *

Русская колония Холливуда резко отличается от других колоний Зарубежья. Русская колония Сан Франциско, в массе составленная из эмигрантов из Харбина и других мест Манчьжурии, бывших служащих Китайско-восточной железной дороги и их отпрысков, от начальников железнодорожных мастерских до смазчиков (отсюда её определение — «Харбин-Товарная») сразу приобрела ремесленнический облик. Русский Холливуд стал городом артиста, крупных имен российского артистического мира. Ричард Болеславский, Лев Булгаков, связанные с Московским Художественным Театром, Рубен Мамульян, Луис Майлстон, из монтажистов ставший директором, и ряд других стяжали себе славу постановкой кино боевиков. Аким Тамиров, Михаил Визаров, Вавич, король петербургской оперетты, Михаил Чехов, Ольга Бакланова и другие русские имена приобрели новую славу.

Но это одиночки, большие талантливые люди. Основная же часть колонии, причисляющая себя к артистическому миру, суть «экстра», воздух, людская бутафория, безликие массовые сцены, задник, на фоне которого избранные разыгрывают свои роли.

Чаяния этих особ идут от постановки одной русской картины до другой. Когда случаются длинные промежутки между картинами, среди «экстра» раздается горький плач и скрежет зубовный, потуже затягиваются пояса, в глазах выделяется острее маниакальный блеск изголодавшегося волка.

Когда же раздается клич, что такая-то студия вызывает «экстра» для русской картины, оживает вся колония; начинают трещать телефоны: «правда ли?» «где и когда?», просьба включить в список его и всю его родню, мольбы подвезти.

Вечером с холливудских гор на много миль вокруг стелется золотое поле электрических огней, загораются над небоскребами ночные рекламы «Монмарт», «Студия Вагнера», «Холливуд Отель», «Двуглавый Орел». На Холливуд Бульвар встречаются лица, знакомые по экрану всему миру; закипает ночная жизнь необычайного города, где всё направлено к созданию обольщающей иллюзорности, к золотой мечте женщин, прекраснее которых не найти нигде в мире.

Холливуд, 193[illegible]

ЧЕРНАЯ МАРИЯ

— Мы плыли из Глазго с грузом виски, зафрактованным для Сингапура, но у Кардифа, огибая губу, нам повстречалась...

Крепкий запах шведского пунша. За открытыми окнами матросского бара видны парусные мачты шхун, прибывших во внутренний порт Окланда с рыбных промыслов Аляски. Вдали, через залив, в калифорнийской синеве перламутровым теплом белели небоскребы Сан Франциско.

...До странности знакомый, хотя и никогда неслышанный голос! Интонации, тон его, некоторая певучесть — вот, что показалось знакомым до внезапного волнения и четкого представления в этом необычном для неё месте светловолосой голубоглазой финской женщины.

— Но за Кардифом уже в открытом море мы наткнулись на «Черную Марию», четырехмачтовый парусник, вернее на то, что осталось от него...

Опять длинная пауза. Звон чайной ложки в стакане пунша. На прилавке бара суконная фуражка с потертым козырьком и некогда золотым шнуром. Рука со светлыми волосами, выделяющими дымчатую синеву татуировки. Почти льняные волосы, бледно-голубые глаза.

— Только остатки, так как она пронеслась мимо нас со снесенным бугшпритом и обрубленными снастями бизань-мачты... Даже в целом виде, встреча с «Черной Марией» не предвещала ничего доброго, а в таком плачевном состоянии и говорить нечего! Да и она, казалось, сама знала, во что она превратилась, так как кроме её второго шкипера никого не было видно на её деке, когда в сумерки она внезапно оказалась у нас на штирборте...

Он подошел к окну, высунулся из него, пока трехмачтовая шхуна со спущенными парусами проплывала медленно мимо к своему причалу.

— Вот ведь, что странно, — повернулся он опять к стойке, — вот, чему трудно поверить! Ведь её снесло тайфуном в Сундском проливе у берегов Явы. В каком это году? Если моя младшая, а у меня их две, родилась в 1871 году, а несчастье с «Черной Марией» случилось года за два, за три до этого, значить... Тоже Мария, но я сказал бы «светлая Мария»! Да и как можно назвать иначе русоголовую голубоглазую малютку!..

И опять образ молодой финской женщины появился в двух шагах, словно прислушиваясь к тому, что говорил невысокий плотный человек из той породы, о которой говорят: «Не ладно скроен, да крепко сшит». Не оставалось никакого сомнения в том, что он был отцом этой женщины, что они хорошо знали друг друга, что было так же странно, как присутствие второго шкипера на борту «Черной Марии» после того, как она потерпела кораблекрушение и на подобие легендарного «Летучего Голландца» носилась по морям всего света несколько лет. Странно, так как шведский финн Исай Фриман, шкипер трехмачтовой барки «Оле Кнудсон», погиб, когда его светлой Марии было только два года. Не оставалось также никакого сомнения в том, что это имело отношение ещё к одному таинственному появлению «Черной Марии».

— Я слышал о ней и знал, как и все моряки, что означала встреча с «Черной Марией», и несколько дней мы все были в понятной тревоге... Не знаю почему, но я в особенности, словно неожиданное появление этого предвестника неминуемого несчастия касалось только одного меня... Это стало у меня навязчивой идеей, одержимостью. Я не мог простить себе, что по навязчивому авантюристическому зову я оставил двух малюток, Александру и младшую, мою светлую Марию с их матерью в портовом предместьи Гельсингфорса...

Он сделал движение в сторону буфетчика, указав на пустой стакан, и внимательно следил, как тот нацеживал в него ром.

— Не знаю, что случилось с кораблем из Глазго, так как я списался в первом же порту, куда мы зашли за дополнительным грузом, решив лучше вернуться к рыболовным промыслам в Ботническом заливе, а главное, ближе к своим... Слышал, что где-то у берегов Африки снесло все — и бочки с шотландским виски и с портвейном из Опорто, снасти... О людях нечего и говорить... Но это ещё не всё... Чувство неотвратимого несчастия, охватившее меня после встречи с «Черной Марией», не оказалось ошибочным: то, что меня ожидало дома, две мои дорогие малютки, одной чуть больше года, другой около трех, оказались сиротками...

Человек надел фуражку и отошел к окну. «Неужели уйдет, не закончив рассказа, и никогда не появится так выпукло и живо в таком отдаленном для него месте, после трагической смерти в 1873-м году?»

За окнами шумел своей обычной кипучей жизнью порт; грохотали колеса грузовиков, доставлявших для погрузки железо, бочки, мешки, ящики, визжали тросы лебедок над раскрытыми трюмами. Гаддела толпа в баре; в громких голосах, смехе, восклицаниях звонко хлопали по прилавку кости игроков; в углу железным скрежетом, не успев расшипеться, хрипел и стонал электрический монстр-патефон.

И опять стало таинственно тихо, когда человек в поношенной морской фуражке вернулся к своему месту у стойки.

— Малютки-сиротки на руках... Меньше всего я думал, что это могло случиться!.. Тогда многие у нас поговаривали о переселении на Дальний Восток, в новые места, сулившие так много в будущем. Называли Кангауз, финскую колонию вблизи Владивостока, о широчайших возможностях, которые открывались в тех мес-

тах для предприимчевого человека. Задумался и я, мне как-то хотелось порвать с этим миром и начать сызнова где-нибудь на краю света. Да ещё эта авантюристическая жилка! Ничего не вышло бы из этого, если не редчайший случай, бывает же так! В порт приплыл парусник «Оле Кнудсен» захватить несколько семейств переселенцев на Дальний Восток. Но этого ещё мало. Перед самым отплытием заболел шкипер, его сняли с борта и я занял его место. Лучше, если это не случилось бы!

И опять длинная пауза, словно этот оживший в портовом баре Окланда моряк прошлого столетия размышляя о превратностях судьбы и возможностях их отклонения 63 года после того несчастного случая

— В августе 1873 года мы прибыли в Индию. Долгое, но сравнительно тихое путешествие. Мои две девочки на руках одной сердобольной семьи, у которой были свои малыши. Шкипер кругосветного парусника, когда мне не было ещё сорока!.. Калькутта с её нищетой, скученностью, с бездомными, спящими на тротуарах, дорогах, в каких-то норах, повальные болезни, смертоносные эпидемии, привела меня в удручающее состояние и я только думал, как скорее выбраться оттуда на свежий простор океана. Мы разгруживались, надо было стоять несколько дней. В это время что-то и случилось... Но что осталось от пребывания в Калькутта — кроме катастрофического это поразительные, я бы даже сказал величественные закаты оранжевого цвета, такого, как яркое одеяние некоторых буддийских монахов. Такой незабываемый контраст нашим длинным сероватым сумеркам. Ганг, её разлитое устье, Бенгальский залив залиты этим изумительным оранжевым цветом. Так незабываемо! Через несколько дней... Поразил вид воспаленно горевших глаз! И бред. К вечеру или к утру второго дня мучительный кашель, белесовато-стекловидная мокрота. Эти детали запомнились так четко, словно я ещё сейчас подползаю к борту, разрывая на себе ворот рубашки, чтобы ничего

не давило бы меня... Ещё за сутки до этого, подозревая кое-что, я отдал распоряжение, чтобы никто из пассажиров и команды не приближался бы к корме, а ещё лучше не появлялся бы на палубе до тех пор, пока... Сам перебрался на корму, за ворот лебедки, и там у свернутых пеньковых тросов устроил себе... Даже успел, между приступами рвоты, натянуть над собой кусок брезента, как защиту от палящего солнца Индийского океана... Затем этот брезент пригодился для другой цели... Что было довольно страшно — темно-синие пятна подкожного кровоизлияния на груди, где я сорвал рубашку, на ногах, которые я освободил от липкой потности брюк... Второй шкипер, заместивший меня, висел на поручнях мостика, не сводя с меня глаз, и я читал в них недоумение, жалость, сострадание, даже любовь, и непоборимое опасение, что страшная болезнь не задержится на мне одном, а сметет и других... Я думал об этом, то со страхом, то с полным безразличием... Время от времени закаты бесподобного оранжевого света проплывали перед мной и уносили в забытье. И появлялись опять, хотя за краем брезента, всё ещё висевшего надо мной, я видел черную ночь океана, чувствовал её удушливый зной... И ждал утра тем ожиданием, которое никогда не обманывает... Перед самым рассветом, когда внезапно поднялся шквал, она пронеслась вдоль правого борта, как в тот раз после Кардифа, и по снесенным мачтам, оборванным снастям и одинокой фигуре шкипера на форделке я знал, что это была «Черная Мария»... Остальное было безразлично: фигуры в чем то белом, стянутый брезент, неуклюжие движения багров, чтобы завернуть в него тело, обмотать бечевой и стащить к наклоненной к борту доске и, подняв один край, спустить зараженный груз в море...

* * *

Опять стало шумно, как бывает обычно в портовых кабаках с беспечно захмелевшими моряками: кто бро-

сал кости с грохотом о прилавок и смачно сквернословил при проигрыше; кто вспоминал женщину, оставленную в одном из портов Аляски и громко клялся, что вернется к ней, чтобы ей не было холодно по ночам; кто начинал горланить песню, обрывал её и впадал в мрачный тон; кто спал, уложив голову на залитый пивом стол.

За окнами бара гремели колеса товарного поезда. С залива Сан Франциско доносились заливчатые гудки катеров и паромов-ферри, перевозивших автомобили и пассажиров между Сан Франциско Окландом, Берклеем, Бенисия и Сауcолито. Вдали сквозь мачты и снасти аляскинских рыболовных шхун отливались сиренево-палевыми тонами под пятичасовым солнцем здания Сан Франциско в нижней части города и на горах Nob Hill и Russian Hill.

...Почти шесть часов у стойки бара, то в шуме и гуле голосов, в надрыве осипшего патефона, то в глубоком таинственном молчании, один на один с голосом, таким знакомым, но никогда до этого не слышанным, с образом крепко сбитого моряка с обветренным, светло-веснущатым лицом, сквозь которого светило лицо молодой финской женщины; в состоянии длительного опьянения, порождавшего яркие видения, почти ощутимые под рукой... вырывающаяся из своих рамок картина четырехмачтового клиппера «Белое Облако» — ветер в восемь баллов, зелено-синее море в пенной белизне, чаши надутых парусов, сильный крен — над кабацкой стойкой и полками красного дерева с батареями бутылок... виски, виски и колдующая смесь из крепкой порции рома, бенедиктина и других зелий в полулитровом стакане с крошенным льдом — zombie, способная воскрешать души давно умерших — как воскресила деда Исая Фримана, погребенного в Индийском океане, и светлую Марию, мою мать.

Окланд, 1936

ВЕЧЕРА НА ПАСИФИК

Негр гитарист прихлопывал ногой об пол, выбивая нараставший ритм и вырывая из гитары протяжно-звонкие аккорды. Он пел, закинув далеко круглую голову в кольцах жестких волос, напрягал голос, пуская его над толпившимися у стойки людьми, наливался в лице кровью, и только белел на нем, на подобие приклеенной полоски влажного голубого шелка, шрам от ножевой раны.

Громкие голоса и смех толпы у стойки прорывались сквозь пение негра; из кабинки, задернутой занавесью, доносился низкий умоляйщий голос, и в ответ на него слышался стыдливый прерывистый смех другой женщины — и негр придерживал пение, чтобы прислушаться на мгновение, но клокочущий ритм крепко держал его, узконосые лаковые ботинки начинали сами по себе выбивать чечётку—и двенадцать фигур фрески на стене за прилавком бара — подобие «Последней Вечери» с грузным человеком в широкополой черной шляпе в центре —казалось оживали обычным вечерним пробуждением.

Негр переставал петь и ставил на прилавок тарелку с несколькими четвертаками. Гремели на лестницы шаги и Иззи Гомец, не поднимая грузного тела с продавленного кресла, припадал каштаново-темным лицом к глазку в двери и нажимал на её ручку. Скрипел блок с подвешенной гирькой. Порториканец откидывался на спинку кресла, обменивался приветствием с обычными посетителями и снова складывал на животе пальцы, начиненные синевато-коричневым мясом.

* * *

Фон вечеров на Pacific Street: пивная Иззи Гомец, излюбленное в Сан Франциско место сборищ газетчиков,

писателей, художников разных мастей и дарования, борцов и боксеров, женщин света и полусвета, сутенеров и проституток, солдат, полудев и полумужчин и прочих завсегдатаев подобных мест. Фон для рассказа без цели и содержания, как без цели и содержания бывает жизнь.

* * *

Хлопала входная дверь, скрипя кольцом блока, у бара увеличивалась толпа, громче поднимался гул голосов, смеха, восклицаний, густело облако тяжелого табачного дыма. От толпы отделилась женщина в голубом обтянутом платье; она положила недокуренную сигарету с малиновым от губной помады концом на тарелку негра с несколькими монетами — и он взялся за гитару, присел в коленях, словно готовый прыгнуть на нее, и заиграл «O, lady, be good». Женщина в голубом складывала губы бантиком, начинала дрожать в коленях и петь низким, идущим из крутого, высоко подобранного живота голосом, придавая своим глазам выражение детской непорочности.

Люди у стойки поворачивались к ней, размахивали в такт пивными кружками и стаканами с виски; женщина в голубом раскачивала туловищем, поводила из стороны в сторону коленями, задрав платье — и молодой человек с серым лицом, заливаясь восторженным смехом, старался ухватить её за ногу. Из кабинки на громкий смех и поощрительные возгласы появлялась Кид, нежная, стыдливая — и молодящийся старик отрывался от стойки и группы репортеров, рассказывавших о суде линча, на котором им посчастливилось побывать, шел навстречу ей, прижимал к себе, закутывая в полы верблюжьего пальто и капризно спрашивая, почему она охотнее проводит время с мужеподобной Pat the Cat, а не с ним. Он выпускал её из своих объятий и возвращался к стойке, к тому месту рассказа, как волокли убийцу ребенка через парк к развесистому дубу, как услужливые люди переки-

дывали через мощную его ветвь веревку с петлей, как визжал в предсмертной агонии убийца, как мирные жители тихого соседнего городка, заранее собравшись в парк для возбуждающего нервы зрелища, держали на своих плечах детей, чтобы и они могли полакомиться им, ожидая конца, когда можно было ринуться к дубу и сорвать, ради сувенира, платье и белье повешенного, оставив его голое тело качаться под ветерком ласкового мартовского дня.

Женщина в голубом платье продолжала танцевать, приманивая к себе Кид, и накипала ревностью коротко-стриженая женщина в широкоплечем жакете, оставшись одна в кабине; она отдергивала занавес, следя, как половой мексиканец, с похоронно-меланхолическим лицом осторожно проходил стороной, чтобы женщина в голубом не выбила бы из его рук блюдо с горой жареного картофеля. Коротко стриженая женщина хотела шума, скандала, криков, ссор; она видела, как человек, пытавшийся схватить ногу танцующей, сбил, как бы нечаянно, со стола её сумку и, делая вид, что зашнуровывает ботинок, залез в неё ловкими пальцами. Но всё оставалось обычным: гул пивной, звон гитарных струн, пение негра. Она откидывалась спиной на деревянную скамью кабинки, закладывала за голову руки, и думала о нежной, как стебелинка, Кид, розовой от притворного стыда — переходя от томящей нежности к внезапному озлоблению.

Скрипел блок у двери, входили новые посетители. Иззи Гомец задерживал на мгновение у входа высокого человека и профессиональным движением, как бы обнимая его, проводил рукой по его заднему карману, чтобы проверить, нет ли там револьвера. Молодой сутенер в белоснежной рубашке, раскрытой у ворота, и в туго обтянутых брюках проходил медленно мимо столиков, высматривая пожилых женщин. Нарастала толпа в конце коридора у дверей с надписями Адам и Ева. В дверях по-

являлся полисмен в приплюснутой синей фуражке, и на кивок головы порториканца шел за перегородку — место для избранных посетителей — где его ожидало несколько стаканов дарового виски. Поговорив с газетчиками, он возвращался в пивную, оглядывал толпу, женщину к голубом, вора, женщину с неестественно прямой спиной и франта-джигало, заглядывал в дальний угол, показывая головой на дверь — и два молодых человека покорно вставали и шли за ним к выходу.

Человек с серым лицом передвигался дальше от валявшейся на полу сумки и подсаживался к женщине с неестественно прямой спиной, как бывает с людьми, проведшими младенческие годы в гипсовом корсете для выправления горба. Вор улыбался, заглядывал ей в глаза, вынимал из кармана рубашки пачку сигарет, предлагая ей закурить, кивал головой на пустую рюмку и заговорчески намекал, что у него есть кое-что для неё. Она поворачивалась к нему и смотрела на него, как на пустое место, переводила глаза на ручные часики, пристально вглядываясь в них, подносила к уху, проверяя, идут они или нет, словно торопя время к тому часу, когда в порту на Эмбаркадеро ночная смена закончит погрузку и грузчики пойдут по домам.

Пожилая женщина с коротко стриженой головой продолжала лежать на деревянной скамье кабинки, откинув занавес, чтобы видеть, что делается в баре. Она служила бухгалтершой в скотопромышленном ежемесячнике, и здесь, среди газетчиков, репортеров, писателей, артистов, среди разношерстной толпы, считавшей себя богемой, причисляла и себя к ней.

Негр гитарист подстраивал гитару, выжидательно поглядывая на Кид, и она, смущаясь, начинала петь тихим, неуверенным голоском о любви, которую она не ожидала — и стриженая женщина, придавая иной смысл словам банальной песенки, поднимала голову и настороженно прислушивалась;

Скрипел дверной блок, Иззи Гомец бегло оглядывал входивших, прислушиваясь к шуму из дальней кабинки. Задерживая вход у двери, появлялся старый господин в элегантном костюме. — Это, это, — он делал глубокую паузу, касался сведенными в щепотку пальцами нижней губы и растерянно смотрел в угол,словно там в какой-то уходящей точке он искал то, для выражения которого он не мог найти слов.

Люди, толпившиеся у входной двери, смотрели на его оливково-смуглое лицо, встревоженный блеск его желтоватых глаз, упавшие веки с красноватыми отворотами. Он поднимал опять руку, ожидая, когда они пройдут и в то же время заграждая им путь, теребил край пиджачного отворота с розеткой Почетного Легиона. Иззи Гомез поднимался с кресла, брал под руку француза и вел его за перегородку, где усаживал на стул и сам наливал ему стакан красного вина.

Молодящийся старик в верблюжьем пальто пробирался к Кид, но её держал при себе боксер в обтянутом клетчатом костюме. Он обнимал её за талию, прижимал к себе, и она смеялась с притворной стыдливостью, когда его рука сползала вниз.

В дальнем углу раздались громкие голоса ссоры, и Иззи собирался направиться туда, но на полпути, увидев вора в толпе у выходной двери, он подождал, пока тот вышел наружу и там, на площадке, быстрым профессиональным движением обыскал его и отобрал деньги украденые у женщины в голубом платье.

Вернувшись к своему месту, Иззи усаживался на кресло, но в углу продолжалась возня; кто-то бросил стул и женский голос закричал громче. Иззи Гомец шел туда и говорил короткостриженой женщине: «оставьте их в покое». Она оправляла платье, смотрела на него и её глаза начинали принимать осмысленное выражение. Она хотела плакать, жаловаться на свою судьбу, заглушить ревность, зная, что никому не было до неё дела.

Входил другой полисмен и также, как первый, по знаку порториканца шел за перегородку. В пивной ничего не происходило, но один из людей, сидевших в углу за стойкой, опускал голову, придерживая её обеими руками, над кружкой пива, словно огораживая её от посторонних взглядов. На нем был просторный рабочий костюм, какие носят механики, и казалось, что он забегал сюда во время вечернего перерыва с шоколадной фабрики Джирарделли или из типографии итальянской газеты L' Eco d'Italia выпить пива и повидать приятелей. Казалось, что он задумывался над кружкой пива, а не следил скрытным образом — с его места было видно, что происходило за перегородкой — как полисмен допивал виски, оправлял форму, заглядывал в записную книжку, останавливался в дверях, перекидываясь словами с газетчиками и в то же время бегло, но внимательно оглядывая толпу — и человек в рабочем костюме втягивал в себя живот и незаметно касался рукой пояса, под которым за брюками другого костюма была аккуратно уложена пара нейлоновых перчаток.

Вечера на Пасифик. «И каждый вечер, в час назначенный...» Вечера у Иззи Гомец расплывались в одно смутное пятно, в один ритм и движение и, как в калейдоскопе, мелькали в нем котелок и верблюжье пальто, голубое платье, редкие зубы человека с серым лицом, хлопающиеся двери с изображениями Адама и Евы, лицо порториканца цвета бразильского кофе под широкими полями сомбреро, голубой шрам у негра от ножевой раны, розоватый кусок кожи на оголенном колене притворно-стыдливой Кид, завязанная узлом шея жирафа на фреске на стене за прилавком, просыпанный жареный картофель, уныло-постное лицо мексиканца полового, неестественно прямая спина молодой женщины, ожидавшей полуночного часа... И как в какофоническом нарастании

шума выделялись голоса, смех, слова сентиментальных песен, грохот ног, всхипывание стриженой женщины, падение тела на лестнице за входной дверью, непрестанное клокотание воды в уборных, звон гитарных струн, подмывающая дробь чечётки лаковых ботинок — и во всем этом вечернем движении, в этих звуках, красках оживали кабацко-апостольские лица с жирным порториканцем посреди стола в кощунственной фреске «Последняя Вечеря».

* * *

Ночь. Пустынная улица Пасифик ведет к Авеню Колумба и шумному, залитом светом Бродвею. У пересечения их два подростка. «Ты, верно, пойдешь со мной», говорит он девочке, жадно прижимаясь к ней. «Я знаю одно место, нас туда впустят». В ночной тишине звучал её стыдливо-робкий смех. Они шли вниз по улице, тесно прижимаясь друг к другу, не замечая, что поодаль шел человек в рабочем костюме — и когда он ему не был нужен, он сбросил его, оставив в бумажном мешке в сорном ящике, зная, что его не заберут до рассвета. В легком обычном костюме он сходил за клерка из промышленного учреждения, приличного молодого человека. Но преже, чем сбросить рабочий костюм, он тщательно проверил все ли было в порядке под поясом его брюк.

Шелестели шаги. Привыкшее к ночным звукам ухо различало сирены полицейских автомобилей, их истерическое завывание, извещающее о человеческой драме, внезапном крике, боли, агонии кровоистечения; сирены амбулансов, мчавшихся к приемным скорой помощи; медную дробь пожарных команд, треск и щелканье сухого дерева в ночном зареве пожара. Наступившую тишину, как паузу в симфонической оркестровке. И опять шелест подошв, вкрадчивый, воровской по пустынным холодеющим панелям; крик смертельно напуганной девочки

подростка, хрип сдавленного горла, хруст хрящей, звук падение тела, глухой удар головы о мостовую, ещё один замирающий крик. И снова тишина, чуть слышные шаги легкой воровской поступи по пустынным панелям скорее и дальше от места очередного преступления.

Она слышала приглушенный расстоянием крик не то ребенка подростка, не то женщины, страх и смертельный ужас в нем, но её внимание было приковано к нескольким грузчикам, медленно поднимавшимся в гору. Дойдя до угла, они остановились, разговаривая. Ещё один замирающий крик донесся из пустынной темноты улицы двумя кварталами выше, но никто не обратил на него внимания.

Пока грузчики разговаривали, она — женщина с неестественно прямой спиной — следила за ними с тем сладостным ожиданием, известным повышенным людям, особенно нимфоманкам, в неудержимых поисках острых ощущений. Рассматривая их издали, она знала, на ком остановить свой выбор: плотный, коротконогий грузчик в поношенном макиноу поверх просторного синего «оверола», в растоптанной обуви с подвернутами концами не по росту длинных штанин, с пестрой вязаной шапкой на голове. Она терпеливо ждала, когда они расстанутся, гадая, куда пойдет человек в клетчатом макиноу, чтобы успеть нагнать его, поравнятся с ним и, вдыхая запах напитанной терпким потом одежды грузчика, заговорить с ним, удерживая своё волнение, спросить сигарету и, не спеша закуривая и заглядывая ему откровенно в глаза, произнести несколько часто повторяемых слов. И затем, в комнате дешевого рабочего отеля, после того, как изнуренный тяжелым трудом и любовью грузчик засыпал мертвым сном, предаться сосредоточенному, умиротворяющему наслаждению.

Вечера на Пасифик. Пивная порторикакца Иззи Гомез, калейдоскоп лиц, костюмов, движений, учащенный ритм голосов, смеха, восклицаний, криков, пения, гитарного звона, подмывающей дроби чечётки. Игра чувств, страстей, любовных позывов, праздной похоти, потаенных замыслов, воровских движений, неудержимых стремлений к насилию, крови, удушению.

Та же обычная толпа, газетчики из санфранцисских газет, артисты и полуартисты, писатели и полуписатели, женщины из света и полусвета, девы и полудевы, полуженщины и полумужчины, сутенеры и джигало, воры и сыщики, случайный сброд обычных кабацких мест.

Бренчала гитара негра, снисходительно вторя слабому голоску разрумянившейся Кид, и жадно прислушивалась к ней стриженая женщина со своего обычного места в кабинке. Приглядывался к ней и молодящийся старик в котелке и верблюжьем пальто, но его отвлекал оживленный разговор репортеров о повторном происшествии в одной из темных улиц, за портовыми складами Эмбаркадеро. Входил полисмен, бегло оглядывая публику, словно ища мимоходом кого-то, прежде чем скрыться за перегородку ради положенного ему стакана виски — и человек в рабочем костюме опускал ниже голову над кружкой пива, чутко прислушиваясь к разговору газетчиков, словно сверяя, насколько точны были их сведения об очередном преступлении, совершенном прошлой ночью маньяком-душителем, известным под кличкой Зеленые Перчатки. Он слушал их с замирающим интересом, как сладкую музыку, весь поглощенный ею, не слыша ни шума, ни клокочащей воды в соседних уборных, ни робкого пения Кид о любви, которая пришла неожиданно и так же неожиданно оборвалась, нащупывая незаметно рукой аккуратно уложенные под поясом брюк нейлоновые перчатки.

Сан Франциско, 1938

ИМЁН НЕОТВЯЗЧИВЫЙ ЗОВ

На аэродроме дул сильный ветер, дул он и вдоль пыльных улиц военного городка Фэйрфильд, и за три дня пребывания там пора была привыкнуть к нему. Так же пора была привыкнуть к тому, что происходило на аэродроме и что вначале казалось таким увлекательным: выкатывались огромные четырехмоторные аэропланы для погрузки, подходила команда и сбитые в группу пассажиры, появлялся желтый «джип» с надписью позади «следуй за мной». Самолет следовал, выкатывал на площадку, становился в готовую позу и с оглушительным ревом начинал прогревать моторы, поднимая за собой ураган. С наблюдательной вышки он получал сигнал и, казался сразу чем-то, принадлежащим другому миру: он пригибался к земле, разгоняя ревущие моторы и, сотрясаясь всем корпусом, на исходе стремительного бега взлетал в высоту.

Дни были жаркие, первые дни августа. Фэйрфильд: военно-авиационная база, выжженная калифорнийская степь, желтая трава, бурая глина; вдали круглые безлесные холмы цвета липового меда, кое-где серая зелень одиноких дубов.

Огромный зал, высокие окна, кожаные кресла, диваны, удобные для длительного ожидания. Офицеры, солдаты, обслуживающие аэродром. Пассажиры всех сортов, военные, включая женщин в форме, гражданские чины Военного Департамента, правительственные миссии, китайские генералы и офицеры, вылетающие домой после военных закупок или тренировки в Америке; группа ученых для исследования последствий атомного взрыва на острове Бикини; сестры милосердия, доброволицы Жен-

ской Вспомогательной Армии. Всё это направлялось на восток, на Гаваи, Маршалловы и Марианские острова, Гуам, ещё не так давно отбитые от Японии, на Филиппины, Японию и Корею. Тихоокеанская война закончилась за год до этого. Почти всё, что терпеливо ожидало полета на восток в знойные августовские дни 1946-го года, готовилось для участия в послевоенном процессе восстановления нормальной жизни в Азии.

* * *

После трехдневного ожидания — вызов к полету. Десятый час вечера. Военный самолет. Веревочные сидения, на спинах спасательные пояса. Нарастающий рев моторов, судорожная дрожь корпуса и крыльев, стремительный пробег по дорожке — и чудеснейший миг отрыва от земли.

Одинадцатый час ночи. Огни над Сан Франциско в феерическом сиянии уличных фонарей, окон небоскребов, неоновых реклам, каруселей увеселительных парков вдоль Тихоокеанского берега — и темный простор океана. Восемь часов полета до Гонолулу.

Изумительный цвет кораллов под пенистым кружевом зеленовато-синей волны в ранний час гавайского утра' Улицы Гонолулу. Женщины, плетущие гирлянды-леи из лепестков хибиска и бугаквилий, следы смешения кровей различных рас и пород на их лицах, от полинезийского бурого закала до сиреневатой белизны европейского севера. Громадные валы морского прибоя за пляжем Вайкики, бронзовые тела гавайцев на плоских досках на их седых гребнях.

Снова взлет с военного аэродрома Гонолулу, крохотная точка острова Джонсон в просторах Тихого океана, та же игра коралловых красок под прозрачной зеленью моря, посадочная площадка чуть выше уровня воды, тропический зной. Кваджалейн, атол группы Тихоокеанских островов, сумерки, звездная тропическая ночь, не

сколько часов отдыха перед следующим перелетом. Раннее утро. Спуск с прохладной высоты в десять с лишним тысяч футов в удушливое испарение Гуама. Медленное передвижение от посадочной площадки до военной столовой. Зной, лень. Сомнамбулические движения прислуги. Яичница из яичного порошка. Соли не надо, так как с голой груди негра в тарелку обильно скатывается пот. Тяжелый день ожидания следующего перелета. Знойная ночь. Неугомонная возня птиц в зарослях позади военных бараков. Встревоженные крики обезьян. Предрассветная посадка на самолет для перелета на Ива Джима, крохотный остров, кровавое место последних судорожных боев с уже изнеможденной Японией.

Посадка в Цугами, маленьком военном аэродроме в окрестностях Токио. Скрученная от воздушных американских налетов сталь авиационных построек, выгоревшие кварталы поселка. Прощаясь с самолетом, не веришь, что это ещё примитивное сооружение могло оставить позади тысячи миль над водным пространством Тихого океана.

Токио. Потрясающие следы воздушных налетов: выжженные кварталы, прибитые тяжелым запахом терпкой гари, огромная гора кирпичей на месте Центрального вокзала; вечерами бездомные японские семьи, укладывающиеся спать под соснами на земляных рвах вдоль каналов Императорской площади.

И, наконец, Страна Утреннего Спокойствия, её столица Сеул, конечный пункт воздушного странствования. Какой контраст представляет она после только что оставленной Японии! Там, где не были видны следы военных разрушений, Япония — с её зеленью, чайными плантациями, очаровательными городками и селениями, оставшимися в целости, буддийскими и шинтоискими храмами — носила черты женственной красоты. Резкие очер-

тания гор, оголенные массивы гранита темных фиолетово-лиловых тонов с изрезанными вершинами в жгучей синеве неба, суровость природы и спартанский дух народа придавали мужественный вид Корее.

Сеул, знойный пыльный. И незабываемо красочный в величии огромных городских ворот, стен, королевских дворцов, павильонов, храмов, окружающих гор.

Величие и грязь, нищета, пренебрежение, прибитость, азиатское равнодушие. На мусорной куче против военной гостиницы разлагается труп корейца. Обычай страны таков: кто тронет его убрать должен и похоронить его. В шумной реке у старинной сторожевой башни, куда сливаются нечистоты, кореянки стирают белье, колотя его палками по плоским камням. Что-то похожее на рубашку, купленную в Сан Франциско перед полетом, мелькнуло в воздухе, прежде чем погрузиться опять в воду. Жара, пот, пыль. Брюки, из которых вылезаешь вечером, стоят, как железные латы на полу. Ещё одно испытание перед концом дня: долгожданный душ, надежда, что хватит воды — о горячей не приходится мечтать — критический момент, намыленное тело, знакомый посвист в сетке душа и последняя капля воды!

* * *

Десять незабываемых лет, три в Корее, семь в Японии, в Токио, Нагойя, в десятке других мест, названия которых услаждают память... И всё же, несмотря на открывшиеся просторы деятельности, вызов к принятию новых требований и заданий, успех в выполнении их, нарастало непоседливое чувство, зов к другим местам, прислушивание к названию чужих городов.

Пора покончить с семилетней привязанностью к Токие, к Фениксу, восставшему на пепелище. Все настойчивее разглядывание географических карт, все сильнее влечение к истокам благочестия, к Святым Местам, к земле героизма, к его драматичекому воплощению, к Греции,

наследнице Эллады; к вечности и религиозному господству, к «свету искусства и источнику любви», к месторождению Колумба, т. е. к Риму, Флоренции и Генуа; к интенсивному изображению человеческого страдания, к городам Гюго, Бальзака и Диккенса, т. е. к Парижу и Лондону.

Зама. Тип корчмы на проезжей дороге. Ещё Япония, но не Токио, а военное поселение, вблизи тихого фармерского местечка. Проводы, угар последней ночи. Женя, хозяин кабака, сын русского адмирала и японки, приятный господин с желтовато-кошачьим лицом, задает тон разгулу. Шум, грохот, дым коромыслом. Американские марины, солдаты, солдатки, кто в форме, кто в штатском, японцы, японки, обычный нарост у военных лагерей. Джон, долговязый гармонист, марин полицейской роты, («зовите меня Ваня, мой папа, как и вы, руссак»), раздувает мехи до отказа, задирает голову и запевает «O, ce la mu...» Но его голос обрывался, ему трудно перекричать рев восторженных слушателей, у него пересыхало горло и он озирался вокруг в поисках почитателя со стаканом виски в руке. Но из-за прилавка выбегал Женя, весь в хозяйских заботах, что при частых остановках ради пересохшего горла артист выдохнется и вечер останется без музыкальной программы. Ваня снова раздувал мехи. «Johnny gonna go home», притоптывая яростно ногой, пел он, переходя, после очередного глотка на «Очи черные».

Аэродром Ханеда, расставании с друзьми токийских лет. Посадка, самолет Air France — какой контраст с тем, что перебросило через океан в первый раз! — парение над ночными огнями Токио и Иокогама, над черной водой Токийского залива, над Атами, японской Ривьерой. Звездная ночь, отделимая от земли тысячефутовыми слоями облаков.

Рассвет. Сквозь брезжущий свет и разрывы туч показались первые очертания Филиппинских островов, мутные огни сонной Манилы; посадка на запасном аэродроме, грязном, запущенном; единственно, что было привлекательным на нём, была молодая филиппинка, служащая Air France, державшая у груди кипу пассажирских паспортов, завернутых в промасленную бумагу. Накрапывал мелкий дождь.

В самолете на пути в Сайгон появилась другая публика, филиппинцы, индонезийцы, среди последних много женщин, белые шелковые шаровары, платья зелено-желтого цвета, матовая кожа лиц, сочные пунцовые губы, словно на них не высыхала кровавая пена листьев бетеля. Внизу сверкало Южнокитайское море.

Перед Сайгоном появилась красная лента берега, река мутно желтого разлива, ровные квадраты зеленеющих полей, платановые рощи, кольца реки, то цвета кофе с молоком, то крепкого чая. Ближе к городу — красные, серые черепицы крыш, прорезы улиц, красная глина, сады, площади, здания, казармы.

Легкий бриз на аэропорте, на веранде крепкий кофе, отличный коньяк. Японка, стюардесса Air France, с извиняющей улыбкой показывает на плакат о запрещении делать фотографические снимки — перед зданием аэропорта прогуливает часовой ананит в брезентовом плаще с карабином за плечом. Если бы не он, можно было бы не знать, что совсем недалеко отсюда идет война, причиняющая Индокитаю неисчислимые бедствия.

Затем джунгли Камбоджи и Тайланда, аэропорт Бангкока, нарядное, недавно построенное здание, с отличной стенной живописью в светлых прохладных залах.

От Бангкока до Калькуты четыре часа полета. Бенгальский залив. За водным пространством серо-коричневое полотно земли. Мать Индия. Обиталище благочестия и смирения, Будды и Мара, князя зла. Низкий берег, разлив мутной реки, каналы, болота, вдали Калькута, раски-

нутая на огромном пространстве — парки, сады, широкие улицы, роскошные дома, все, что дала Англия этой стране от своей привычки к благоустроенной жизни. После поднебесной высоты в 14 тысяч футов попадаешь в парный зной, который чуть рассеивается легким бризом с залива. Индусы в белых одеяниях, у женщин одна нога завернута в ткань, другая почти вся обнажена. Босоногие индусы, вися на бамбуковых шестах, красят стену. В просторной столовой дубовые резные столы, словно перенесенные из средневекового английского замка, индусы-слуги в чалмах с золотой отделкой, в длинных мундирах с золотыми поясами, с бронзовыми лицами, руками и босыми ногами.

Через шесть часов полета Пакистан. К раннему рассвету самолет опустился на аэродром Карачи. Утренняя прохлада; в коридорах аэродрома мерлушковые шапки мужчин, белые шаровары, усы. Прекрасные глаза женщин и детей.

Ещё один рассвет. Багдад. Свежий холодок. Серо-желтое небо, редкие деревья. Молчаливая группа пассажиров медленно пересекла аэродром, направляясь к саду перед авиационным зданием с названием «Казино», на веранде которого был сервирован завтрак. У входа в сад два жандарма, разбойничьи лица, белые мундиры, эполеты, портупеи, лядунки. В «Казино» вытоптанная трава, опрокинутые стулья, пивные бутылки, арбузные корки, виноградная шелуха. За столом группа пакистанских студентов, благочестиво упоминая Аллаха, дружно наваливается на яичницу с ветчиной.

И опять в поднебесье, высоко над выжженной солнцем Месопотамией. От Багдада на Дамаск путь прямой, как полет пчелы. Внизу на коричневом бархате песка белеют ленты Тигра и Ефрата. Там, где стояли древние Селевкия, Сиппар и Вавилон, южнее Багдада, обе реки сближаются... Древняя Ассирия, Халдея, колыбель человечества, благословенные земли. Желтовато-серый песок

стелется и цвет его, «как пах осла», по определению Бунина. Лишаи коричневого цвета, кубики глинобитных домов. Если там когда-то был рай, цветущая страна Эдена, то остались только выжженные пески.

С запада приближаются горы. С высоты в 14 тысяч футов трудно определить их размер: солнце чуть перевалило за полдень и не бросает ещё длинных теней.

Внизу вьется дорога на Дамаск. Что-то сверкает белым пламенем на ней. Две с лишним тысячи лет тому назад на этой одинокой дороге совершилось одно из величайших чудес мира: ослепление тарсянина Савла и превращение его из гонителей Христа в самого верного Его последователя. «Савл, Савл, за что ты гонишь Меня», прозвучал голос на пустынной дороге, и никто не знал, откуда шел он, и менее всех ослепленный Савл. И только до превращения в Павла, он понял, что голос звучал с неба.

Дамаск внизу, на плато, согретый октябрьским солнцем. Ряд других селений и городов тянется к этому теплу. Впереди в легком мираже стелется Ливанская долина. Подъем на перевал Ливанских гор к побережью Средиземного моря. К северу от Дамаска — Баальбек, воздвигнутый, по сирийскому преданию, «в безумии Каином». За горным перевалом у взморья — некогда богатый и могущественный Библ, обиталище таинственного шестикрылого бога Эла. Южнее Бейрута — Сидон и Тир.

Святые земли, благословенные и проклятые Богом Саваофом через пророков Иеремия, Исая, Амоса: «за три преступления Дамаск, Газа и Тир; за четыре — Сидон, за Астарту, мерзость сидонскую»... «Вот Я обращу против вас лице Мое на погибель и истребление... Тир и Сидон должны быть уничтожены... Вот Я приведу на тебя, начальствующий Тира, иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои и помрачат блеск твоего города... И скажу: вот я на тебя, Сидон, и когда произведу суд мой...»

Бейрут, основанный за 15 лет до Рождества Христова как военная колония Юлия Августа Феликса Бейрута.

Вдоль дороги от аэродрома до города слева сверкающая фиолетовая синева Средиземного моря; справа рощи величественных ливанских кедров под густой шапкой темнозеленой листвы. У подножия их красная глина, солнечные пятна на золотом песке.

Пятый этаж, балкон, шезлонг, высокий стакан виски со льдом и содовой водой. Теплый октябрьский день. Внизу, перед гостиницей — пляж, песок, цветные круги зонтов, бронзовые тела, ажурная пена лениво набегающих волн. Что нужно больше?

Вечер. По дороге к центру города вдоль побережья. Пивное заведение, для экономии времени повсеместно окрещенное в бар. У входа стоит девушка, поигрывая глазами и ключиком, свисающим на шнурке с шеи. Маневр бесхитростный: надо заказать у кабатчика виски и пойла для девушки и тогда она снимет ключик с груди и проведет дорогого гостя к себе наверх. Но это ещё не всё: надо несколько раз ей крикнуть в сторону стойки: «Антон, ещё по одной», пока легковерному чужестранцу не надоедает это и он не отходит прочь.

Из-за куста отделяется молодой араб. Он начинает с того, что он не одобряет игру с ключиком, которую он наблюдал с полчаса. Зачем обманывать доверчивую душу, когда можно сделать всё полюбовно! Вот у него есть удобная комната вблизи, ни о каком ключе не может быть и речи! Для гостя всё. Вкрадчивый голос, певучие интонации... Что он вам говорил? На лице мальчугана чистильщика сапог жадное любопытство: видно, что он не прочь прибавить ещё одну профессию к своему ремеслу. О, порочное наследие Содома и Гоморры! О, богомерзские дела твои!

Стройные иглы мечетей, величественная Ай-София, серо-желтоватая снаружи и залитая внутри золотистым сиянием, ниспадающим из-под огромного купола, кажу-

щимся невесовым, покоившимся на незримых крыльях мистических существ, шестикрылых серафимов. Покойные, восхищающие глаз тона Голубой мечети, тончайшая резьба декоративного орнамента, чарующая синева мозаики. Благочестивая тишина, умиротворяющий покой... И...

И несмолкаемый шум, грохот, какофония человеческих голосов, рев зверей, крики погонщиков, скрежет сорванных шестеренок, клокотание перегретых авобусных моторов, гудки катеров и пароходов — это мост Галата! Подъем на гору в древний, обветшалый Истанбул, в некогда гордый Константинополь, а за века до этого — в блистательную Византию.

Отель Перу Палас. Огромнейшие покои в белом, леденящем мраморе, ванная, в котором уместился бы гарем неплохо устроеннного падишаха! И стоимость этой ненужной роскоши в переводе турецкой лиры по официальному курсу на американский доллар такова, что невольно опасаешься за благополучие мира. Но не успеваешь растегнуть ремни чемодана, как у двери раздается стук и входит буфетчик с невинным вопросом: «Мистер, у вас есть доллара?» Всё мгновенно снижается в пять раз и предотвращает мировой кризис.

Доллар — могущественный султан и имя его не ниже имени Аллаха! Лавочники, чистильщики сапог, слепой с темными очками на глазах, сидящий у Голубой мечети и распознающий на лету американские ботинки прохожих, восклицают ладно сработанными голосами: «Мистер, у вас есть доллара?»

Площадь Таксим, деловой центр города, банки, авиоционные компании, магазины, театры, рестораны. В одном из них, готовившемся к открытию, малый в белом замызганном кителе давит сардинным ключем мух, прилипших к свежей краске стены.

Таксим Театрози. Комедия, балет. Duncan Sisters. Обветшалая сцена, выцветшие декорации, пыль на рваном

плюше кресел партера. Кан-кан, дух игриво-беспечного Монмартра, возрожденный мясистыми ногами армяно-турецких балерин. На улицах здоровые дяди в различных формах с револьверами в объемистых кобурах. Особенно внушительны люди медвежистого вида в коричневых формах и кожаных крагах с надписью на поясах «Bergi».

Звонкие голоса детей у школы. В одной из групп русские голоса. Лет шесть. «Да, я русская девочка». «Можно тебя сфотографировать?» «Можно, но у меня нет двух первых зубов». «Но у тебя такая улыбка, что её надо сохранить навсегда».

Сверкающие белым мрамором Афины. Четкая линия изумительнейших зданий Акрополя под застывшей синевой небесного свода. Купы ливанских кедров, темнозеленых кипарисов, цветущих алеандров. Возбуждающий аппетит запах жареных на вертеле баранов и шипящей на углях колбасы из греческих таверн, разнообразие одеяний и красок уличной толпы от черных платьев, чулок, шалей пожилых женщин — наследие турецкого владычеста — до галифэ, высоких сапог желтой кожи и синих мундиров щеголеватых стариков с острова Крит.

Ночь, теплая, густая, насыщенная ароматом мирта и лимонов, и много другого... Совсем, как та, отчеканенная в юношеском воображении афоризмом: «Афинские ночи в финских банях».

Загородная таверна Палео-кострица. Темный свод неба, близко к полночи. Многовековой развесистый дуб, сотни глубоко сосредоточенных на еде людей, что не мешает им, впрочем, вести живой разговор с соседями, яростно жестикулировать ножами и вилками и пичкать перекормленных детей хлебом, смоченным оливковым маслом, запихивая его чуть не пальцами в их глотки.

В компании четыре человека, но стол заказан на пять. Пятое место бродячему музыканту, а их за трехчасовое чревоугодие сменяется с десяток: певцы, гитаристы, гар-

монисты и просто артисты, ничего не имеющие против подзаправиться у чужого стола.

Шум, громкие голоса, звуки гитары, пение, запах жареного мяса, пряностей, золотистый цвет рецины, белого вина, настоенного на сосновых почках — и магическая афинская ночь!

Второй час ночи, но до рассвета ещё есть время побывать в Неа Смирна, место, славящееся мороженым... В предрассветном воздухе по ту сторону долины на темном массиве каменной глыбы белеют колонны Пропилеи.

— Построить новый Акрополь мы не сможем, — говорит на прощание грек, — но живем мы не хуже древних эллинов.

* * *

Рим, Неаполь, Флоренция, Милан, Генуа.

«Рим уже не то отелье художника, что прежде», заметил грустно Ипполит Тэн за сто с лишним лет до этого. Что сказал бы он теперь, бросаясь в смертном страхе из сторону в сторону на перекрестках от яростных налетов фиатов и других механических монстров, неменее оголтелые хозяева которых, поднимаясь во весь рост за рулями и потрясая небеса руками, высоко вскинутыми над головами, вопили неистововo другим автомобилистам на их пути: «bastardi, criminali!»

Но тихая ночь. Огромный вокзал. Близко к полночи, прибытию северного экспресса и с ним скандинавской королевы из Стокгольма.

Королева — Эльза, американская шведка, встреченная однажды — и не забытая — в Сан Франциско.

Грохот колес, мгновенно оживший вокзал. Узнать ли сразу? Что сохранила память от единственной встречи, кроме сияния светлой короны на хорошо поставленной голове?

Беготня, загалдевшая толпа, вскинутые вверх окна вагонов, чемоданы, просунутые через них... И вдруг всё остановилось и затихло, как по мановению: высоко над

темными головами приземистых римлян появилась белокурая голова с прядью, повисшей над лбом, светлое лицо с чуть застенчивой, почти стыдливой улыбкой.

Вермут перед закрытием вокзального буфета. Разговор, как бывает с почти незнакомыми людьми. Сдержанный смех, маскирующий начальное смущение. Площадь перед вокзалом. Несколько такси. В стороне — экипажи, лошади в затейливой сбруе, кучера. Откинем жизнь лет на сорок назад, ближе к юности, к воскрешающим источникам ранней любви! Конечно — фиакр, неторопливое цоканье копыт по пустынным улицам, мимо темных зданий, напоминающих декорации опер Верди, через заснувший город, выше к вилле Боргезе, перед высокой стеной которой и дубовой рощей находился отель Ее Величества северной королевы.

* * *

«Влюбляешься в Рим медленно, понемногу, но уже на всю жизнь», писал из Италии Гоголь.

Влюбляешься и сразу, если уже охвачен этим томительно-восторженным чувством, из каких источников оно не исходило бы!

Как судить о народе, заполняющем тесные узкие улицы этого звонко-шумного, кипучего города, его величественные площади, толкущемся у фонтанов, сидящем на скамьях плацца Колонна, на ступенях лестницы Испанской площади, за столиками уличных кафе — или осатанело носящемся на фиатах, ягуарах, вегах, на всем, что держится на колесах, яростно проклинающем всех, кто неосторожно попадает на пути! Он живой, привлекательный, заметно плотоядный, стадный! Оставить его в стороне и удовольствоваться наиприятнейшим сознанием пребывания в чужом городе полным странником, никому неизвестным и не зная никого... Не зная почти и Ее Величества скандинавской королевы!

Поезд на Неаполь. За окнами пробегает длинный акведук и время от времени развалины арки или колонны.

Слева вдали цепь гор, разработанные поля, селения. По пыльной дороге идет процессия: мальчик в белых чулках с кадилом, падре в кружевном облачении, невеста в подвенечном платье, жених в черном, оба с опущенными головами, горсть приглашенных, восторженный пес, замыкающий шествие.

Он не вошел, а впер в купе — жирный, коротконогий, толстобрюхий — сел напротив, пожирая похотливыми глазами северную королеву, истекая плотоядной слюной и понимающе подмигивая: «не дурна, красотка, а?» Зуд, нестерпимый зуд в правой ладони смазать по жирным щекам блудливого карла!

Но королева весела и беспечна, всё развлекает и забавляет её: давка на неаполитанском вокзале, ватага оборванцев наперебой сующих под нос золотые часы, тускнеющие к вечеру, краденые вещи, зарящихся тут-же украсть что-либо, яростно атакующих экипаж королевы, чтобы найти ей достойный отель и устроить её там.

Неаполь вечером. Луна, необходимый аксессуар для подлинного романтического представления, не замедлила всплыть над Неаполитанским заливом, сперва огромная, кроваво-багрянного цвета, затем принявшая обычную волшебно-лимонную неотразимость.

Порт, набережная. Ряд причаленных друг другу носами и кормами плотов с десятком ресторанов на них. В небе луна, на море колдующее отражение огней, за столом напротив царственная улыбка, белокурое сияние короны северной королевы; в стороне скрипки, играющие под сурдинку, чтобы не усилить и так учащенное сердцебиение...

Опять Рим, блуждание вдвоем по его улицам и площадям, сидение на ступенях Испанской лестницы, у фонтанов, в уличных кафе. Музеи, соборы, Сикстинская капелла, собор Св. Петра, Колизей, мрачный, давящий, поныне смердящий человеческой кровью.

Автобус от Рима до Генуа с остановкой в Флоренции. Цветущая Италия. Старинные города, замки, виллы, утопающие в цветах. Старая Флоренция, знаменитый собор, неменее знаменитая площадь, место сожжения Джироламо Савонарола, украшенная статуей Давида Микеланджело.

Другая Флоренция по ту сторону реки Арно, полна зелени, цветов, нарядных вилл. В одной из них, в вилле Бонсионе, в декабре 1878 года, томился Чайковский. Работа над оперой «Орлеанская Дева» шла успешно, образ Жанны Д'Арк ему был дорог, но другие чувства, влечения давили его и пугали сознанием невозможности противостоять сладостному, но греховному соблазну.

* * *

Генуа, месторождение Христофора Колумба, сына ткача, который вероятно следовал бы отцовскому ремеслу, если бы не случайное путешествие в Исландию в 1477-м году и рассказы о высадке Лейфа Эриксона Рыжебородого в Винландии на неизвестном материке не разожгли его воображение к знаменательным открытиям.

Палаццо, превращенное в отель. XV, XVI столетие. Лепной потолок, гобелены, средневековая мебель. Нет только герцогов, придворных дам, поэтов, певцов, пажей и шутов. Но осталось отражение северного сияния, светлый образ Эльзы, скандинавской королевы. Увы, только на один краткий день!

Ночь, смятенные чувства. Поздний октябрь. Свежий ветер с бухты Генуа, как в Сан Франциско. Поздний час, когда редеют улицы, когда вместо толпы властвуют над ними одиночки: пьяницы, редкие полисмены, случайный падре с дарами, спешивший к ложу умирающего, одинокая дева улицы, человек со смятенными чувствами, пришибленный запоздалой любовью.

— Buona nòtte, пойдем ко мне, моя комната за углом, тепло, а здесь сыро.

— Да, да, пойдем, только не в комнату... Я только что оставил одну... Не скажу, чтобы там было тепло... Даже королевы не лишены особенностей обычных женщин. Вернуться? Нет...

— Я говорю, что у меня есть комната. Всего лишь три тысячи лир, одну за комнату, две за любовь.

— Сколько за вероломство, даже с голубой кровью?

— Хорошо, сколько за комнату, столько и мне. Но не будем терять времени. Улица совсем пуста и я не знаю, встречу ли кого-либо, даже такого одержимого, как вы!

— Вина, вина, полцарства за литр тусканского киянти!

— Где же оно сейчас! Если она выбросила вас, кто знает, мужчины теперь пошли такие... Бог с вами, если не можете, я сама заплачу за комнату, только...

* * *

Милан, проводы, автобус на аэродром с северной королевой и поезд на север. Будет ещё встреча? Когда, где? В Сан Франциско? Остуженная временем и расстоянием? Без лишних смятенных, чувств, вассального преклонения?

* * *

Брюссель. Наиприятнейшая встреча с В. В. Ореховым, редактором военного журнала «Часовой» и с его семьей. На следующее утро раннее появление в отеле одного из сомнительных персонажей «Финала в Китае», зачинщика и соучастника нашумевшего в свое время похищения и убийства молодого пианиста Каспе в Харбине в тридцатых годах.

Темное лицо, встревоженно-напуганный взгляд, странная походка, словно его ноги были слиты в одно и могли двигаться свободно только ниже колен.

Цель его посещения: рассказать ещё об одном случае, не освещенном им в записках, написанных им по предложению автора «Финала в Китае» и щедро оплачен-

ная им, несмотря на их водянистость и заведомое стремление придать себе образ мученичества (за убийство Каспе китайский суд приговорил его и его соучастников к смертной казни, но японские власти, новые хозяева Маньчжурии, по личным соображениям освободили их, придав делу патриотический характер борьбы против коммунизма).

Этот случай был убийство им по приказанию японской жандармерии одного из видных деятелей эмиграциии, с которым этот утренний посетитель служил вместе в прежнее, лучшее время.

Убийство произошло днем на одной из харбинских улиц. Очевидцы рассказывали, что убийца упал со стоном и слезами на тело убитого. До этого утренний посетитель в своем рассказе не дошел, топчась на одном и том же месте, что он полез за борт куртки, чтобы достать пачку папирос и случайно задел за курок револьвера, который выстрелил сам по себе.

Что случилось потом, оказалось неожиданным и омерзительным: сам потрясенный таким наивным объяснением убийства друга, он вдруг упал под ноги, моля, как перед иконой о прощении и снятии с души тяжкого, каиного греха. «Я вам не судья и не духовник и не целитель угрызенной совести».

Неприятное чувство осталось на весь день. Поезд на Париж ушел из-под самого носа, надо было гнать такси через весь Брюссель, чтобы поймать его на другой станции. Образ валявшегося в ногах темного человека не сходил с памяти. В вагоне было шумно и тесно. За окнами пробегали закопченные заводы, ржавое железо, горы шлака. За шлагбаумами толпились люди, намокая под дождем.

Париж. Вокзал в ремонте. Длинный путь вдоль цинковых плит, то под темной крышей, то под открытым не-

бом. Странный тип в жокейском картузе с шарфом вокруг длинной шеи, явно томимый жаждой выпить ещё, всё старался перенять в свои руки чемодан, чтобы потом поднять шум из-за неполученных чаевых.

Отель на Rue Richelieu. Игрушечный лифт поднимается только до пятого этажа. Скрипящая винтовая лестница в потемках пробирается ещё на два.

Возьня с ключом у двери. Приглашающее движение войти. Узкая комната-склеп; серовато-зеленый свет, робко вползающий в окно и липнущий к сырым стенам... Трехногий стул, пятнистая поверхость ветхого стола, залитая вином и прожженная окурками. Узкая кровать, покрытая серым одеялом, которое, казалось, ещё таило остывающее тепло проституток или поэтов в последнем градусе чахотки... Омерзительный образ темного человека, валявшегося в ногах в брюссельском отеле показался вновь перед глазами... Липкие стены, серый свет, серое одеяло, двигающееся в судорогах агонии умирающих... Вон, вон, как можно скорей, к свету, простору! К окну мансарды, высунутся из него и броситься в провал с седьмого этажа к подножию памятника Мольера! Или на улицы, к людям, автомобилям, уличному шуму, движению!

Place Concorde, обелиск, начало Элисейских Полей. Густеют ноябрьские сумерки. Становится холодно. К лесу у начала Avenue des Champs Elysees, к скамьям стекаются одинокие старики и старухи с постельными мешками, чтобы устроиться на бездомный ночлег. 1955-ый год, la belle France! Надо было оставить Японию, хорошую службу, отличный дом из-за японской нищеты, бездомных, удручающего состояния людской обездоленности, чтобы столкнуться в Париже с тем же самым! Перед глазами вновь проплыл омерзительный образ бельгийского незванного посетителя, комната-морг, населенная серо-зелеными тенями чахоточных поэтов и проституток...

Длинный вечер, перешедший в длинную ночь. Блуждание по парижским улицам, то залитым ярким светом, то темным, как подмышки гасконца — всё для того, чтобы не вернуться в комнату склеп к зелено-серым призракам. Бары, бистро, забегаловки, белесоватое, как жидкое молоко, перно, кальвадос, сбивающий с ног яблочный сидр, вино, коньяк, виски, опять перно... И опять улицы, редеющая толпа, странное состояние беспокойного отрезвления, несмотря на море выпитого. Тени, призраки, образы... Как в детстве, желание чего-то светлого, доброго, с чем уснуть безмятежным сном... Вот оно, наконец, за весь парижский день! По улицс от здания Оперы к Лувру шла, в третьем часу ночи, пара, как идут обычно нежно влюбленные пары — в обнимку, с головами, склоненными друг к другу, в живом любовном щебетании, пробуждающем ночную тишину к восторженной любви. Какое приятное зрелище после всех впечатлений тяжелого дня!

Но что произошло при встрече! Как часто бывает в таких случаях: пройдя мимо, ощущаешь за собой взгляд встречного. Мало того, он улыбался и приглашающе кивал головой в сторону своей подруги: «возьми её, что тебе шататься одному!»

Утро. Сбросить с себя поспешно ветхое одеяло, серый саван прежних обитателей мансарды, и броситься к окну, куда врывается свежий день. Мольер на том же месте, в той-же задумчивой позе, но он больше не притягивает к себе магической силой... Над серыми крышами Парижа небо чистейших акварельных красок, чуть пронизанное иглой Эйфелевой башни. Скорее вниз, к крепкому черному кофе и круасан и, затем, на улицы. 11-го ноября, День Перемирия после Первой Мировой войны. Парад на Champs Elysees, факелы над вечным огнем у плиты Неизвестного Солдата под Триумфальной Аркой.

Нарядная толпа, праздничное настроение. Десятки духовых оркестров, конные кирасиры, гвардия, воспитанники военного училища Сэн-Сир, корпус почетных легионеров, ветераны войны, знамена, флаги, доблесть и слава Франции!

* * *

...Купе шотландского экспресса. Два господина обсуждают доклад, прочитанный накануне в Эдингбургском университете. Третий пассажир, повидимому докладчик, быстро просматривает газету, раскуривая погасшую трубку. За окнами мелькали редкие селения, лица за шлагбаумами, станции. Под низким облачным небом расстилался меланхолический ландшафт, голубовато-серые камни, кусты вереска, отары овец с овчарками.

Позади остался Лондон, покойный, величественный, золотая листва Гайд парка, шуршащая под ногами, лебеди на Темзе. Эдинбург, «северные Афины», названный так очевидно по замку на гранитной скале, который не имел ничего общего с афинским Акрополем. Через два часа Глазго, затем около полуночи полет на Исландию. Ещё позже — Нью Йорк и Вашингтон, конец длительного путешествия.

Но в купе шотландского экспресса всё ещё оставалось неразрывной цепью: брезжущий рассвет над Филиппинами и сонные огни Манилы, красная глина и черепицы Сайгона, тропическая зелень Сиама; бронзовые оттенки индусских и пакистанских лиц; радужные краски Бейрута, розовая пыль над горами, за которыми лежат Святые земли... Десятки не похожих друг на друга городов, разноязычие уличных толп... Привести это калейдоскопическое накопление в порядок, пока поезд несется плавно или гремит на стрелках, или предоставить мысли следить за кустами вереска и овцами, сгоняемыми в кучу овчарками?

Поезд прибыл в Глазго за момент до закрытия баров. Такая досада! Что ещё остается делать? Бродить по го-

роду, по площадям Св. Еноха и Джёрджа. Памятники, но не герцогам и королям, а своим сынам, Валтер Скоту, поэту Бёрнсу, изобретателю Уатту, исследователю Африки Ливингстону, государственному деятелю Гладстону.

Полночь. Полет в Исландию, гаснущие огни Глазго. После Гебридских островов стелется темное пространство Атлантичеекого океана.

Безмолвное шествие по заснеженному полю аэродрома Рейкьявика. Лунный пейзаж, застывшие вулканы, холодный свежий воздух. Рослый белокурый народ, пышащий здоровьем. На всем чувствуется здоровое начало, добротность, порядочность этой необычайной страны.

* * *

Имен неотвязчивый зов! Чужие страны, чужие города, ставшие своим, чужой говор, к которому привыкло ухо. Память, хранящая десятки лет встречи, образы, впечатления от птичьго гама и обезьянего крика в тропических зарослей Гуама до холодного безмолвия исландской ночи и её лунного пейзажа, от огненного заката в Мазатлане за тремя островами в Тихом океане до прозрачности осеннего воздуха на озере Судженджи в Японии...

Вашингтон, 1956

Посвящается Татьяне Балакшиной

СТРАНА УТРЕННЕГО СПОКОЙСТВИЯ

У Северных Ворот

Две дороги ведут к Северным Воротам. Одна вдоль Санкаг, Треугольной Горы, большая, проезжая, полна лошадей, волов, корейских пони, грузовиков. Другая внизу вдоль выложенной гранитом реки только для пешеходов. Каменная лестница соединяет её с проезжей вблизи Ворот.

Там место отдыха. Стоят тяжелоголовые волы, упираясь копытцами в щебень дороги; лошади тяжело поводят боками после длинного подъема; лязгают зло зубами перегруженные пони. Носильщики, подперев палками снятые с плеч рогулки с грузом, вынимают из-за уха окурки сигарет. Матери кормят младенцев.

Вдоль дороги расположены лавки с выложенными на циновках дынями, яблоками, арбузами, сливами, персимонами, грушами, всем, что дает щедрая корейская осень.

Здесь всегда толпа, но она не похожа на толпу у Великих Южных или Восточных Ворот, суетливую, шумную, хватающую за полы прохожих, гадающую на страницах древних книг, сбывающую с рук старую рухлядь. Здесь она тихая и не только потому, что сегодня замечательный день золотой осени. В послеполуденный час над иглами сосен и красной листвой японских кленов, далеко внизу сквозь золотистую пыль Сеул кажется поразительно нарядным.

Вдали, в тридцати с лишним милях, чуть заметно отличаясь голубовато-сиреневым силуэтом от синевы неба, вздымается мощный кряж, отделяющий Суванскую до-

лину. Ближе, с правой стороны, сверкает в песчаных отмелях река Хан. Высокий левый берег в ярких пятнах красных глиняных оврагов; вправо чуть заметны аллеи тополей в легкой осенней позолоте. В шести-семи милях возвышается массив Южной горы Намсан, на склоне которой громоздятся черепичные крыши города. Над ними сплошное пятно, кажущееся отсюда бурым, но вблизи оно сочетает красную листву кленов, яркое золото гинко и тутовых деревьев, темную зелень сосен. Над этим пятном белеет линия гранитных перил. Над парапетом высокие стены кедрового дерева шинтоиских храмов, тяжелые крыши строгих форменных линий. Ещё выше влево от них поднимается ещё одна горная вершина и над ней небо в белых атласных облаках.

Правее светло-сиреневым гранитом тянется выгнутый кряж Энунсана; по его хребту, напоминающему спину двугорбого верблюда, появляется и вновь исчезает первая городская стена. По её верху вдоль полуразвалившихся бойниц и проемов идет широкая дорога, на которой всегда движение пешеходов. За стеной мимо огромного здания Сеульской тюрьмы проходит знаменитая Пекинская дорога, по которой в течение веков путешествовали послы вассальных корейских королей с богатыми дарами для китайских императоров.

Влево за изящными крышами дворцов Кьёнг Бок и куполом Капитолии, далеко за двуярусной крышей Великих Восточных Ворот другой кряж обозначает южную границу. Он лишен растительности, но в этот час сквозь золотистую пыль его оголенный гранит переливается теплом розовато-палевых красок.

Так, окруженный горами, словно в колыбели, лежит тысячелетний сказочно-величественный Сеул.

Осень

Лучше этой поры нет ничего здесь, когда синее марево нависает над городом. Всё кажется притихшим и уми-

ротворенным: город, гранит скал, сосны на их вершинах, голубые, сиреневые, золотые, розовые тона дня.

За Северными Воротами дорога раздваивается: одна спускается к реке и идет по извилистому берегу к молельне Белого Будды; другая поворачивает направо и тянется вдоль городской стены за горой Санкак.

Новый мир открывается здесь, мир возвышенный, восторгающий душу! Здесь следовало бы начертать: «Переступая эту черту, оставь позади заботу и суету и преклони смиренно колени перед величием природы»!

Сквозь оголенные сучья персимонов и груш тает золото и багрянец прекрасной осени. Над всем тишина и покой. Галки и сороки притихли на телеграфных проводах. Легкий дымок вьется над соломенными крышами, тая в прозрачном воздухе. Это — октябрь великолепный, пора, когда беззвучно в золотом лесу кореянки в белых одеждах собирают на зиму сухие сучья и листву.

Всё в зачарованной прозрачности. На оголенных ветвях персимонов ещё держатся плоды цвета яркого сурика. Глинобитные стены фанз теснятся у городской стены, их старые крыши почернели от времени и копоти, но в этот час под лучами солнца они горят червонным золотом. Множество поколений выросло под ними, но всё кажется молодым по сравнению с шестистолетними городскими стенами и воротами.

Простая неторопливая жизнь протекает у этих домов. Старые женщины возятся у котлов, готовя рис на пару; ползают крохотные дети, кто в коротких рубашках, кто нагишем; матери кормят младенцев, их лица выражают величавое спокойствие. У стен домов на корточках сидят молчаливые старики с длинными трубками в руках, пребывая в состоянии глубокого созерцания. У запада нет слова, определяющего состояние восточного человека в такое время! Это пора созерцать, пока в золотом лесу бродит тихая осень и в прозрачном воздухе стелется бесконечная умиротворяющая даль.

Шумно пенится горная речка. Она белеет, когда катится по отшлифованной тысячелетиями глыбе гранита, то меняет цвет, когда на неё падает отражение пирамидальних тополей, ещё зеленых внизу, но уже загорающихся осенним золотом на горных отрогах. То она голубая, примятая белым пятном облачка.

За рекой поднимаются первые отроги Пукхана, все в фруктовых садах. Высоко над ними чернеет линия второй городской стены. За нею спуск в лощину, после которой начинается крутой подъем на резко изрезанный хребет Пукхана и выше — к Пэ-Гун-Дэ, Вершине Белого Облака, к скалистому острию грифельного цвета.

На реке оживление, её гладкие камни усеяны бронзовыми телами купающихся мальчишек. Воды мало, только в каменных выбоинах она им по пояс, но осеннее солнце ласково, а вода приятно прохладна. Фруктовые сады безлюдны и тихи; сняты яблоки, сливы и груш и только дозревают персимоны.

Здесь отовсюду на путника глядят столетия. У запруды реки изделие бумаги. Водяное колесо. Тропа, пробитая в камне босыми ногами за века. В квадратном корыте стали выделывать бумагу, когда Европа ещё пребывала в младенчестве. На ней в первые века нашей эры корейские ученые *пак-са* распространили заветы Будды и Конфуция и классицизм древних китайских поэтов.

Сегодня тихо и здесь, только легкими взмахами веника кореянка расправляет на стене мокрые листы бумаги для просушки.

За рекой поднимаются залитые солнцем отвесы каменоломни. Сотни лет назад здесь вырубали глыбы гранита для колонн королевских дворцов и городских ворот и волокли через перевал, где ныне стоят Северные Ворота. Тишина царит и здесь, изредка нарушаемая приглушенными ударами молотов.

На всём зачарованность. Всё в прелести и волшебстве и осень кажется завороженной, сказочной девушкой.

В Первом Храме

В этот осенний день умиротворяющий покой царит в храмах и монастырях, стоящих на отрогах Пукхана.

Внизу на каменном берегу реки стоит молельня Белого Будды, огромная статуя, высеченная в белом граните скалы. Над ней черепичная крыша кофейного цвета, стены и стропила в красных, голубых, зеленых и желтых тонах. Рисунок лотуса повторяется в письме и барельефе. Лотос зарождается в илу, но высокий стебель его с белой или розовой чашкой большого цветка распускается в чистом воздухе над влажными листьями, сверкающими алмазными каплями росы.

Чистота в пределе, в завершении — вот сущность буддизма. Корни в земле, в грязи, в пороке и грехе, но там, над листьми, распускается прекрасный цветок, символ чистой, беспорочной жизни.

...Двенадцатилетний индусский принц по имени Гаутама Сиддхарта вышел впервые за пределы отцовского дворца. В первый день он встретил хилого старика. На второй день он повстречался с больным. На третий он наткнулся на труп. Молодой принц познал, что в мире много печали и страдания... Вот легендарное начало буддизма за пять веков до появления христианства.

Статуя Белого Будды изображает образ Мирьека, грядущего владыки, который появится, как только закончится круг правящего Амиды Будды. Мирьек и теперь может занять его место, но он предпочитает ждать и творить доброе дело на земле. Он сидит в позе спокойного созерцания, левая рука свободно опущена на перекрещеные ноги, правая, с приближенными большим и средним пальцами, не касаясь друг друга, поднята кверху в том движении, которое в строго размеченном порядке буддийских поз означает бесстрашие.

Священник в ярко-оранжевой рясе благоговейно склоняется перед высоким алтарем, за которым сидит правящий Будда в окружении младших будд и судей. Пылают

зажженные свечи, переливаясь множеством отражений на золоте лака и бронзе алтаря. В легком кружеве ладана тихо шелестят бумажные ленты с именами ушедших душ. Начетчица нараспев читает молитвы-сутры. Всё в зачарованном движении. Солнечные лучи играют на рясе оранжевого шелка. Колышатся пятна света и тени. Вьется спиралью легкий дымок. На дворе от слабого ветерка с мелодичным звоном ударяет бронзовая рыба по колоколу. Всё в движении, в молитве, вздохах, в струении света. Неподвижен лишь Будда, спокойный, величавый; его глаза устремлены вдаль, чуть уловимая улыбка покоится на округленных губах, обведенных зелеными усиками.

В другом монастыре, выше на отроге, куда ведут высеченные в граните ступени, три здания: главный храм и две маленьких молельни, прилепившиеся, как ласточкины гнезда, к скале. Одна посвящена созвездию Большой Медведицы; другая — местному горному духу. За века религиозного насыщения Корея впитала в себя, кроме буддизма, другие верования, включая шаманство и демонизм.

В них небольшие алтари, меньше блеска, свечей, украшений. Они предназначены для уединенной молитвы, сосредоточенного созерцания. Особенно трстий, в высеченной нише гранита. Скромный алтарь. Опрятная цыновка. Метелочка. Будда в трех изображениях. В центре Амида Будда, по сторонам младшие фигуры Боттисатв. Один из них Мирьек, предназначенный для грядущего воплощения. Их глаза устремлены вдаль, покоясь на невидимых предметах; их губы, очерченные зелеными усиками, таят загадочный намек на улыбку.

Против алтаря широкое раскрытое окно. Вдали расходятся горы, долина, перерезанная извилистой рекой. Ступая с камня на камень пересекают её пешеходы. Редкие удары молота доносятся из каменоломни. На белом граните сверкают бронзовые спины каменьщиков.

Здесь, кроме восторженного преклонения перед величием природы, появляется чувство благочестивого смирения, светлой душевной радости — и в невольном движении пальцы руки касаются лба и сердца, этих двух земных обиталищ Бога.

Этот храм предназначен для молитвы того, кто завершил длительное странствование, кого не обошла положенная мера страдания и счастья и кто мог повторить слова Конфуция:

«В пятнадцать лет я приступил к серьезному изучению книг. В тридцать сложился мой характер. В сорок у меня не осталось неразрешенных задач. В пятьдесят я познал волю небес. В шестьдесят ничто слышанное мною не волновало меня. В семьдесят моя мысль могла странствовать по свету, не нарушая законов морали».

Пукхан Зимой

Снег выпал в первый день Рождества, пушистый, сверкающий, пригнувший к земле ветви сосен и пихт, и Сеул стал неузнаваемо нарядным своими воротами и дворцами, казавшимися теперь ещё более внушительными под тяжелыми шапками снега на крышах.

За Северными Воротами с непревзойденной красотой предстала вся красота сеульских окрестностей. В захватывающем величии поднялись заснеженные горы, казавшиеся под слепящим сверканием ещё более огромными, словно это были Альпы или Гималаи. Было совершенно тихо, ни дуновения ветра, ни шелеста сосен, лишь дальше у первого поворота городской стены вдруг застрекотали галки и голубые сороки, время от времени глотая комья снега, чтобы остудить возбужденное горло.

К востоку и западу от Северных Ворот идет первая городская стена, круто взбираясь по отрогам, пряча под снежным покровом темные гнезда амбразур.

Легенда повествует о том, как она была построена. Старая столица Кореи находилась в Кессонге, в шести-

десяти милях к северу, но придворные ученые *пак-са* и астрологи разгадали по звездам и другим приметам, что для благоденствия династии Ли, сменившей отжившую династию Корео, нужно основать новую столицу в другом месте. Оно было найдено в долине, окруженной высокими горами.

Каждый раз, когда заканчивали постройку стены, она рушилась, сбрасывая в пропасть строителей. Так было, пока одному из них не пришло во сне видение: явился старец *пак-са* и сказал: «Завтра выпадет снег. По той линии, где он остановится и строй стену». На утро он увидел снег на отрогах гор, обозначая линию будущей стены. Там она и была построена в несколько месяцев, длиною больше десяти миль с восемью большими воротами, за столетие до открытия Америки.

Здесь на безлюдной дороге была та хрупкая тишина, обычно царящая в горах, над занесенными долинами и лесами после обильного снегопада. Всё было белым. Лишь вдали над этой сверкающей белизной грозным видением возвышалась черная масса, порождающая множество сказаний.

Всё сверкало под полуденным солнцем: первый в году снег, дым над побелевшими крышами, деревья в блистательном уборе — и вся эта ослепляющая белизна уносила к Пукхану, к его темной, наводящей страх массе. Из глубины отдаленнейшего прошлого, с первых дней младенчества земли человек столкнулся с извечной борьбой светлых и темных духов, вдохновляющих его душу и подавляющих её, радуясь победе первых над вторыми.

... В неизмеримо отдаленнейшее время, в день первого снегопада на земле, горный дух Пукхана вышел из своего убежища и ослеп от сверкающей белизны. В неудержимой ярости он бросился вниз, чтобы разметать снег у подножья гор. Завыл ветер, застонали деревья. Попрятались перепуганные на смерть звери и птицы. Злой горный дух несся вниз, сметая на пути камни и деревья.

Грохот и стоны разбудили великого духа, который при виде того, что произошло, пришел в такое неистовство, что даже злой дух пришел в смятение. Они яростно сцепились друг с другом. Великий дух напрег все силы и бросил злого духа с такой потрясающей мощью, что тот врезался в гранитную скалу. Там он и по сию пору, зловеще-грифельного цвета, обвеянный бурями, вздыбленная масса обугленного камня. В знойные летние дни, чтобы остудить эту раскаленную глыбу, белое облачко нависает у её вершины. Поэтому и зовут её Пэ-Гун-Дэ, Вершиной Белого Облака. Навороченные в долине огромные камни до сих пор свидетельствуют о великой борьбе светлого и темного духов...

Сегодня, в первый в году обильный снегопад, ничто не напоминает об этой борьбе. Тишина над горами и долинами лишь изредка нарушается возбужденным щебетанием птиц, наслаждающихся белизной земли и свежестью воздуха.

Часами позже, в ранние сумерки, когда в дымчатой синеве повисает молодой месяц и мороз прихватывает снег в хрустящую ледяную кору, над Северными Воротами медленно расправляет ковш Большая Медведица. Вон там к северу за Пукханом и Пэ-Гун-Дэ, в трехстах с лишним милях лежит родина... Слово *родина* звучит странно здесь, где кажется, что вся прекрасная земля — колыбель, где все люди — одна миролюбивая семья, дети одной великой вселенной.

Во Втором Храме

В этом горном убежище после нескольких посещений всё уже хорошо знакомо. Ворота монастыря открыты настежь, но изображения страшных воинов с обнаженными мечами ограждают его от злых духов. Монахи и прислужники сидят в послеполуденном созерцании у гранитного барьера над горной пропастью. Не поворачивая голов, они делают легкое движение в знак приветствия — стран-

ник с бумагой и карандашем в руке всегда желанный гость. Он — *пак-са*, что одинаково означает ученый, художник или поэт.

Старый аббат поворачивает голову и всматривается пристально в полумрак открытой двери — и из служебной пристройки, стуча деревяшками, выбегает мальчик с накинутым через обнаженное плечо куском серого полотна, неся на подносе фрукты.

В монастыре живут и женщины. За пристройкой для слуг играют дети. Вероятно это дети соседних хуторян, но возможно, что живущие в монастыре признают только Божий закон, считая, что Он создал людей, не думая, что в будущем они наложат на себя человеческие законы лицемерия и ханжества.

В мире много печали и горя, как познал принц Гаутама в первые три дня, проведенных вне отцовского дома. Исправить это можно только признанием тщетности существования и преодолением тяготения к нему путем созерцания и сосредоточенности.

Буддийские монастыри поэтому расположены вдали от человеческого жилья, высоко в горах, «куда не доносится ни лай собак, ни петушиное кукареканье», и откуда открывается величественный вид. Ничто не должно отвлекать от созерцания и размышления охваченную восторгом душу! Здесь, как нигде, вдохновленная величием природы, она в смирении и радости возносится к Создателю. Здесь Бог — возвышенная красота, вдохновение, осеняющая душу радость.

Для *пак-са* ученого это место освящено столетиями созерцательной мудрости. Здесь у Божьего престола сам по себе разрешается закон о гармонии, золотом правиле, этике и морали. Здесь чувствуется, что верование не суть обряды, вызолоченные ризы, пышные титулы, а что оно первопричинно, первоначально, наполнившая священных страхом неискушенную душу раннего человека и наделившую его глубочайшим чувством преклонения.

Такой оно принимается здесь, на высоких отрогах Пукхана, благостно влекущее дух к тому неизреченному божественному устремлению, ради которого человек отвращается от всего, что тревожит его в дни земной слабости.

Для *пак-са* поэта, художника? Вот в бледном небе повисает узкий месяц и отдаленные горы лиловеют тенью в розоватой воде рисовых полей. Задремлет на одной ноге аист, слегка раскачивая в воде свое отражение. Вечером позже из дому вынесут бумажный фонарь и повесят его на шесте — и желтый зигзаг луча заколеблется в потемневшей воде. Вот классическая тема, часто воспетая поэтами востока, никогда не теряющий своей очаровательной свежести образ.

Здесь в умиротворенной восторженности души думается о том, что улетучивается в другой, земной жизни, которая в этот час кажется чуждой. Мысль кружится у истоков, у первоначального происхождении вещей, где всё ясно и просто, где для каждого намечено время рождения, жизни, смерти. Об этом думаешь в попытке разрешить и связать рождение и смерть в одно целое, лишенное элемента случайности и освобожденное от физиологического материализма и биологической слепоты, чтобы понять его в полном свете значительности.

Думается о многих других вещах, о близости, связывающей людей во времени и пространстве. Народы различных стран живут, думают, творят одинаково. Одни и те же линии повторяются в архитектуре, рисунке, декоративных мотивов народов древнего мира, разбросанных по материкам Азии, Европы, Африки, Америки. Думается о том, что они вышли из одной колыбели, что они жили одной семьей в младенческое время земли, в предрассветный час, когда было ещё сумрачно, чтобы отличить «эллина от иудея».

Думается о корейском народе, о том который жил сотни лет тому назад и кто строил эти величественные дворцы, ворота, храмы. Как восхищалась его душа, когда

он возводил изящно выгнутые линии одно и двуярусных крыш и красил стропила и верхнюю часть стен в красный и зеленый цвета, так часто повторяемые в природе. Думается о слиянии рас монгольской и индусской, которое сделало его одним из одареннейших народов востока, об его мистицизме, который он унаследовал у последней во время великого переселения народов. Думается об его песне, которую он мог перенять у народов Средней Азии и которая близка русской, «степной», охваченной также грустью и сознанием неограниченной дали. Думается об его будущем, о том, что должно предостеречь его на сегодняшнем перекрестке и вернуть к первобытным источникам, к возрождению его искусства, к извечному торжеству духа, освобожденного от материи.

* * *

Предвечерний ветер ударяет бронзовой рыбой по колоколу и звук его — символ долговечности. Надвигается вечер, удлиняя по горным склонам тени медлительных сумерек. С нижних отрогов доносится звонкий голос певца. Мотив и слова песни знакомы: *Чаннан нын Сангари хын*, повествующие о деревне Сангари, от которой три мили до полного блаженства. Слова тают в отдаленном эхо, приглушенные вечерним покоем, гармонируя с восхищенной душой.

— В чем счастье, — вопрошает она, преисполненная радостью.

— В извечности прекрасного, — отзывается мелодичным звоном колокол.

— В созерцательном постижении мудрости, — говорят лица монахов.

— Только три мили от Сангари, — доносит отдаленное эхо.

Октябрь-Декабрь, 1947
Пукхан, Сеул, Корея

ПУТЬ К СВЯТОСТИ

Так случилось, что в сравнительно близкое друг от друга время, но в разных частях земли жило три человека, смирение, праведность и ранний призыв к духовному служению которых вывели их на путь к святости и позже увековечив одного из них святым. Ещё с древнейших пор стало всем известной истиной, что путь этот не из легких, что не только усеян терниями и шипами, но полон глумления, издевательства и поношения, физического страдания и мучительной смерти.

Для первого из них время было конец двенадцатого и четверть тринадцатого столетий; для двух остальних — конец четырнадцатого и часть пятнадцатого столетий.

Первый жил в Умбрия, рожденный в Ассизи, поэтому и названный Франциском Ассизским. Второй родился в Богемии, в местечке Гусеницы, и его имя также носило название месторождения, так как он был Ян Гус.

Последний родился в Киото, случайный плод кратковременной любви императора Гокоматцу и его придворной дамы. При рождении он был назван Сенгикумару, но имя, которое сделало его известным, почитаемым и любимым в течение пяти столетий и по сих пор, было дано, когда ему исполнилось 24 года, стало Иккию, что означает покой. Позже, в годы полного возмужания, к нему была добавлена приставка Ощо, звание мастера и учителя буддизма.

Первый был ревностным католиком. Сын богатого купца, он вел праздную, беспутную жизнь юношей того времени до момента, когда произошло с ним величайшее событие. Однажды, после пиршества с приятелями, во время которого он был коронован королем бражни-

ков, Франциск неожиданно исчез. Его нашли на улице; он был один, на вопросы не отвечал; его лицо светилось необыкновенным сиянием, изменившим его внешность.

Нет сомнения, что это был знак чуда, не меньше того, которое произошло двенадцать столетий до этого на Дамаской дороге, ослепившего Савла и опалившего его душу, чуда, превратившего его из гонителей Христа в Апостола Павла, вернейшего подвижника церкви.

То, что случилось с молодым Франциском — великое видение, посетившее его избраннически — отвратило его от самого себя со стыдом и раскаянием. Он поставил себе суровое испытание: при всей брезгливости и отвращении он принудил себя склониться над прокаженным и поцеловать его руку. Остальное стало легким, особенно после следующего великого явления, когда в смиренном молчании и умилении он услышал апостольские слова: «Всюду на твоем пути учи и проповедуй: ‹Царство Божье на земле›. Врачуй больных, очищай прокаженных, воскрешай мертвых, изгоняй бесов».

С того времени жизнь Франциска была посвящена служению бедных и больных. Как ни велика была его заслуга на этом поприще, его почитание и любовь к нему в течение веков были порождены его исключительным даром излучения божественного света, безграничного смирения и простоты того возвышенного качества, которое превосходит все-признанную мудрость. Основанием смирения и простоты была его любовь к Богу и человеку, пожалуй больше к последнему, так как кто, как ни он поистине нуждается в заботе и любви!

Всё, что окружало его были его братья и сестры, брат солнце, брат ветер, сестра луна и сестра вода, братья и сестры цветы и птицы. Даже бедность была его любимой и неразлучной сестрой, которой он отдал свою краткосрочную жизнь.

Ян Гус был также католиком, но той особой закваски самостоятельного, логически-испытывающего и взыскательного мышления, поставившего его предшественником немногих людей несокрушимо твердых в своих убеждениях и веровании, которым суждено было появиться столетием позже и расколоть надвое добрую церковь.

Особой чертой их непримиримости было то, что, касаясь человека и его веры, они силой холодной логики считали нужным снять с этой веры покровы таинственности и приманивающего очарования неопределенности, как протест взрослых против доверчивого легковерия и наивности ребенка, так и против успокаивающей примиренности и услаждения души старого человека.

Вопрос остается до сих пор открытым для спора, где урон оказался более чувствительным, но так как подобная дискуссия не является целью настоящего изложения, вернемся к жизни второго человека, которая оказалась кратковременнее жизни Св. Франциска.

Ян Гус был ученым. Его ум, в отличие от ума Св. Франциска и Иккио Ощо, в религиозном смысле был строго научным, с которым сравняться в век Реформации мог только логически точный ум Мартына Лютера.

В отличие от Св. Франциска и Иккио Ощо у Яна Гуса не было ни мечтаний, ни видений; поэзия и красота не привлекали его. Он был лишен, как двое других, чудесного дара экзальтации при виде играющего солнечного луча, этого восхитительного танца жизни; журчание ручья в жаркий полдень, азартное щебетание птиц не услаждали его души, одержимой мучительными мыслями, которыми, как точнейшими весами, он взвешивал такие понятия, как transubstantiation, или на обычном языке, что хлеб и вино являются телом и кровью Христа.

Этот вопрос стал слишком большим и серьезным даже для ученого епископа, чтобы спорить о нем относительно его применения и принятия. Кроме того, он не являлся самым главным в центре его внимания, так как то,

что вызывало в нем негодование было постыдное поведение духовенства, их лицемерие, стяжательство, невежество и ханжество. Ян Гус с таким же негодованием восставал, как и против алчности духовенства, так и против практики смастеренных чудес, явного обмана доверчивых душ, поучая, в протест, не искать видимых знаков присутствия Христа, а принимать Его в Его вечных трудах, любви и милосердии.

Нет ничего удивительного в том, что святая церковь не могла не обратить внимания на его учение, усматривая в нем опасный уклон и черную ересь «худого человека в бедном одеянии». Под предлогом участия в конклаве его пригласили в Констанцию, где несмотря на заверение неприкосновенности его взяли под стражу по тяжкому обвинению в чернокнижье и явной ереси.

Когда следствие по его делу было закончено, его привлекли к верховному суду Констанции, три бурных заседания которого произошли 5-го, 7-го и 8-го июня 1415-го года Господа Бога нашего.

В первый день суда Ян Гус ничего не мог сказать в свою защиту из-за крика и шумных нападок судей епископов и обвинителей. Так как следующий день был днем святого Клода, заседание суда было отложено на один день, когда в присутствии короля Римской Империи Сигизмунда благочестивые отцы церкви осудили формально Яна Гуса в черной ереси.

В последний день суда Ян Гус был принужен уступить в вопросе пресуществления, т. е. что хлеб и вино являются телом и кровью Христа, но продолжал настойчиво отрицать, что Петр был главой церкви.

По окончании суда он был вновь заключен, пока верховные судьи и епископы совещались относительно вины еретика.

Через месяц, 6-го июля, незабываемая сцена произошла в констанском соборе, где святой совет открыл торжественное заседание. Король Сигизмунд восседал на

троне при всех регалиях Святой Римской Империи; в руке графа Палатинского Людовика находился глобус символ императорской державы; Фредерик, бургграф Нюрнберга, держал королевский скипетр; Генрих, герцог Баварский держал корону, а в руках венгерского магната находился меч. Суровый кардинал ди Броньи председательствовал при полном собрании кардиналов и епископов. Посередине собора стояла платформа с приделанным шестом, на котором висело облачение священника, совершающего службу, как символ отходящей души.

Торжественную мессу служил епископ Гнесенский, во время которой держали Яна Гуса в притворе собора под стражей, и только когда епископ Лодийский поднялся на кафедру, ему позволили пройти к платформе, где он опустился на колени в молчаливой молитве.

В тот же день Ян Гус был осужден и передан светским властям.

Нет сомнения в том, что за эту мерзостную ересь, тягчайший грех и сатанинское обольщение святая церковь должна была бы осудить Яна Гуса на мучительную пытку и медленную смерть на дыбе, но благочестивые отцы церкви не столь содрагаясь от мысли о крови, разодранных мыжцах и раздробленных костях, сколь милосердно заботясь о спасении души и ее вечной жизни даже великого грешника, приговорили Яна Гуса всего навсего к сожжению на костре.

Во время кончины Яна Гуса Иккиу Още шел 21-й год. В отличие от Св. Франциска и Яна Гуса, его жизни суждено было стать продолжительной и обогащенной плодами добра. Многое роднило его с двумя другими; со св. Франциском он делил бедность и восторженность души; с Яном Гусом — нелюбовь к пышности за счет простоты и правды, как и отвращение к мирским благам и богат-

ству там, где достаточно веры и бедноты.

В течение веков жизнеописание Иккиу Ощо обогатилось легендами и повествованиями, зачастую противоречивого характера. По одним источникам он родился в средней семье в Киото. По другим — как уже было сказано — его матерью была придворная дама из знатной семьи Фудживара при дворе императора Гокоматцу. До рождения ребенка, Гокоматцу щедро одаривал её, но из-за придворных козней она была выслана из дворца в бедное местечко, где и родился Иккиу.

Все источники соглашаются на одном, что он родился 1-го января 1394-го года, т. е. в первый год *оеи* царствования императора Гокоматцу.

С ранних лет Иккиу проявил недюженные способности. Ему было шесть лет, когда его отдали учеником в буддийский храм ученому монаху. В двенадцать он познал Сутры Вималакирти, трудный предмет даже для взрослых, которые поражались видеть на этих учениях мальчика, легко схватывавшего буддийскую мудрость.

За пять следующих лет он изучил четыре великих раздела буддизма Кегон, Хото, Ханния и Нехан. По окончании этого периода его старый наставник Икен сказал:

— Теперь, Иккиу, мне нечему тебя учить, ты знаешь всё, что знаю я.

Вскоре после этого его учитель умер и Иккиу остался один. Он был беден, как и Св. Франциск, даже не мог похоронить своего наставника как следовало, только молясь и скорбя по нем, размышляя о жизни и смерти, что стало позже основой его учения.

Иккиу исполнилось восемнадцать. После смерти своего наставника он отправился повидать свою мать и поклониться Кваннон, богине Милосердии в Ишияма. Его вид, изнужденный нищетой и голодом, пугал встречных. Стоя перед Кваннон и видя за нею огромный простор озера Бива и величественный кряж японских Альп, Иккиу почувствовал себя таким малым, незначительным,

одержимым сложностями и земными заботами, что он решил покончить с жизнью. «Если смерть не коснется меня, то только по милости богини Кваннон, которая даст мне луч надежды. Если нет — я оправдаю смысл моей жизни, став пищей для рыб».

Когда он сошел к берегу озера, он встретил женщину, которая убивалась в горе. Признав в нем монаха, она сказала ему, что ее муж рыбак утонул в озере и просила его прочесть напутственную молитву. Что сказать, задумался молодой Иккиу. Никто его ещё не просил ни о чем подобном. Он вспомнил свои мысли перед богиней Кваннон и, подойдя к лодке утопленника, сказал: «Ты ел рыбу, пусть теперь рыбы едят тебя!»

Таким образом заключается сам в себе круг.

* * *

С течением времени Иккиу Ощо стал великим учителем Зеншу, одной из нескольких ветвей буддизма, завезенной из Индии в Китай и позже в Японию. Зен отрицает приверженность сутрам и учит, что слово не представляет чистого разума и не ведет к просвещенности.

После того, как Зен (что значит «медитация») развился в главную секту буддизма в Японии, он завоевал ее культурные и военные круги; Иккиу Ощо, как его учитель и человек высокого происхождения и мудрости, получил широкое признание и почитание вплоть до причисления к святости.

Отличительной чертой учение Зена является умение отпарировать вопросы двойственного понимания, некое словесное изощрение софистического характера, манера, известная под названием «кодан».

Однажды глава того места, где в храме Дайтоку жил Иккиу, посетил последнего. По дороге он поймал воробья и держал его в зажатой руке.

— Жив он или нет, — спросил он Иккиу.

Если тот ответит, что жив, его гость задушит воробья.

Если скажет, мертв, тот выпустит воробья с некоторой насмешкой и даже издевательством. В ответ Иккиу Ощо встал с места и спросил своего гостя:

— Отгадай, в каком направлении я пойду?

Любой ответ был бы неверным. Несколько пристыженный гость продолжал уже в другом тоне:

— Как отличить рай от ада?

Буддизм учит, что людям доброго поведения на земле будет уготован рай в новой их жизни. Люди же дурного поведения после смерти обречены пойти в ад для наказания.

— Это можно показать на опыте, — ответил Иккиу, ударив того больно по голове.

Когда высокий гость в ярости разразился руганью и угрозами, Иккиу ответил:

— Вот это ад и наказание.

— Теперь я вижу это и благодарю за пояснение.

— А теперь ты познал рай — ответил Иккиу.

* * *

«Жизнь и смерть», учил Иккиу Ощо, «равноценные события. Умереть не только принять смерть, но и прошлое надо принять, как смерть. День жизни является также и днем смерти. Мы живем и умираем в одно и то же время. Но сущность жизни и смерти всё же различны.

«Надо стоять выше жизни и смерти, быть свободными в своей воле и не бояться смерти, чтобы жить, как мы хотим. Но надо помнить, что время самое главное».

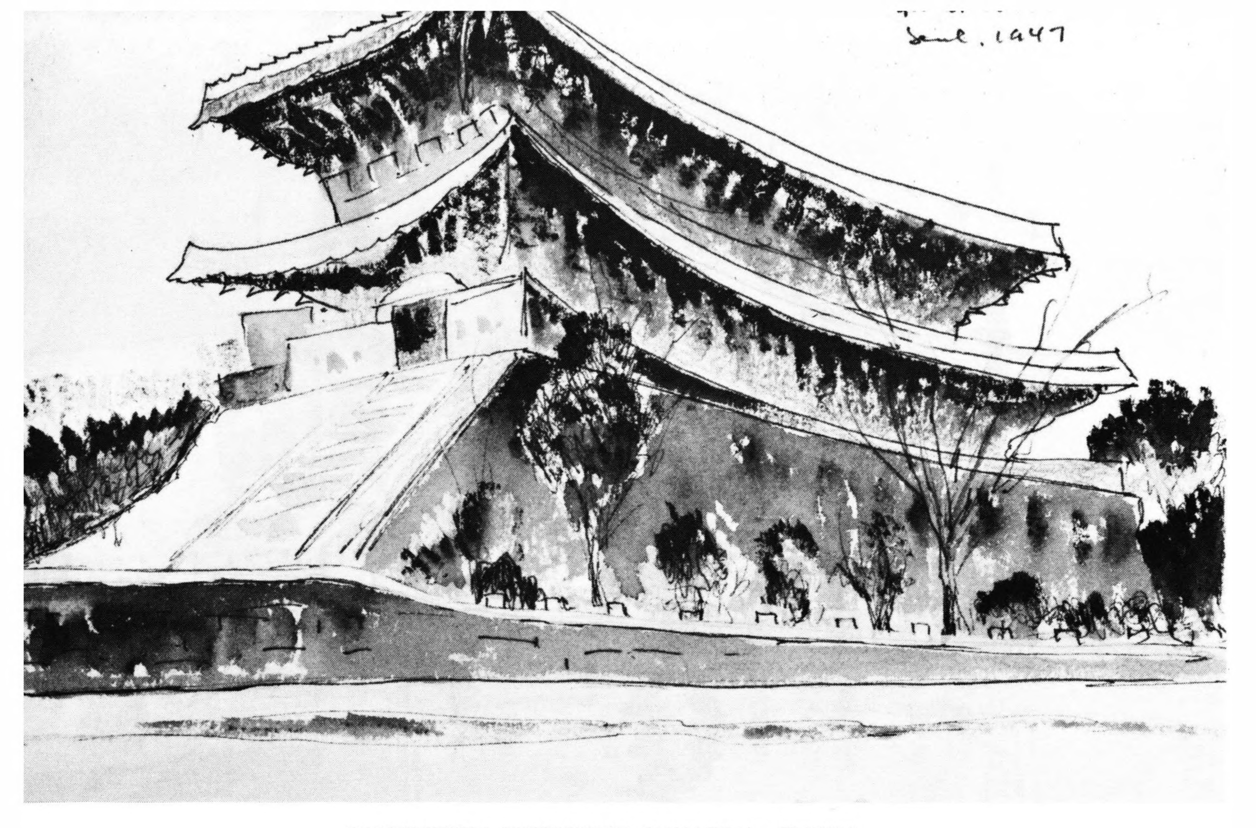
Озеро Бива, Япония
Сентябрь, 1949

ЛИСТ СКЕТЧЕЙ ТУШЬЮ

Скетчи тушью
работы
Автора



МОСТ НИХОН БАШИ. ТОКИО



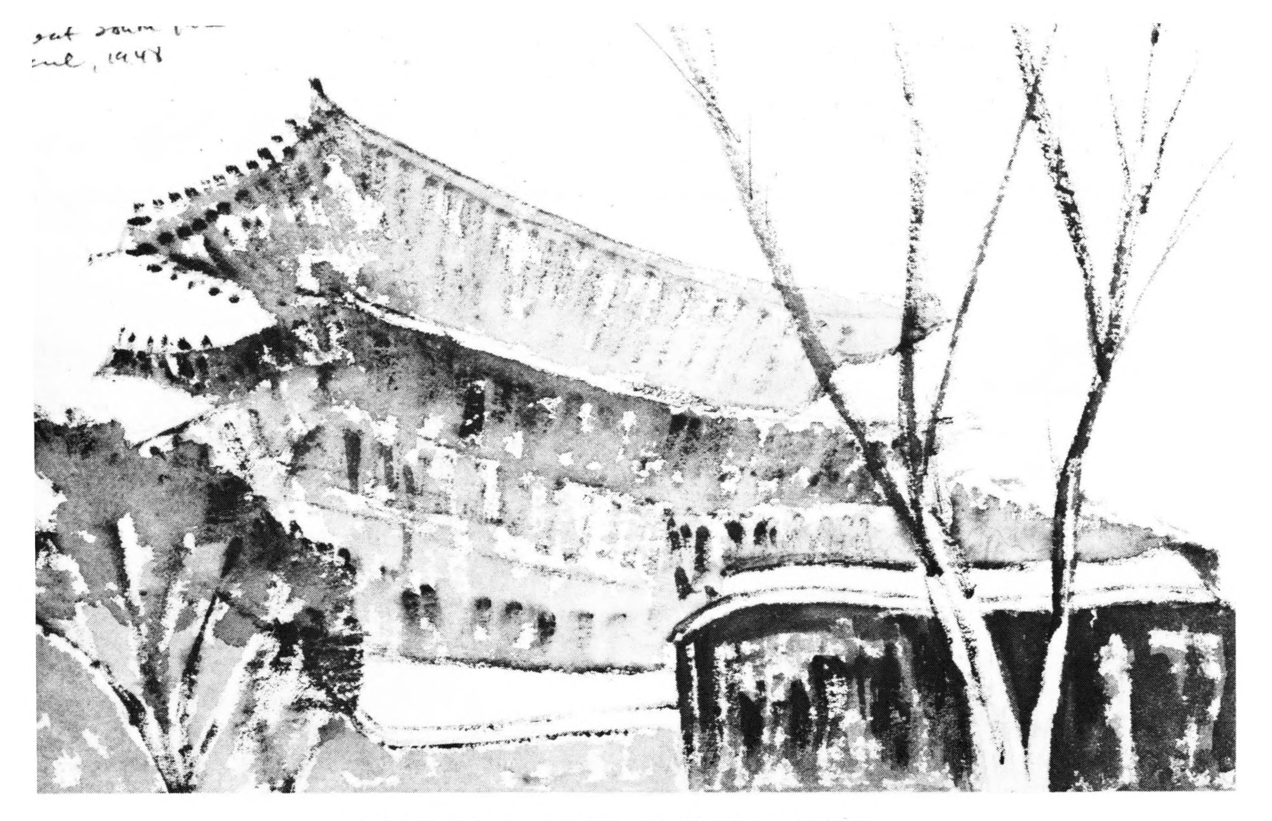
ВЕЛИКИЕ ЮЖНЫЕ ВОРОТА. СЕУЛ



РАССАДКА РИСА



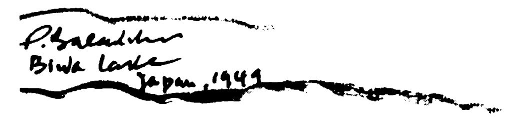
ВЕЛИКИЕ ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА. СЕУЛ

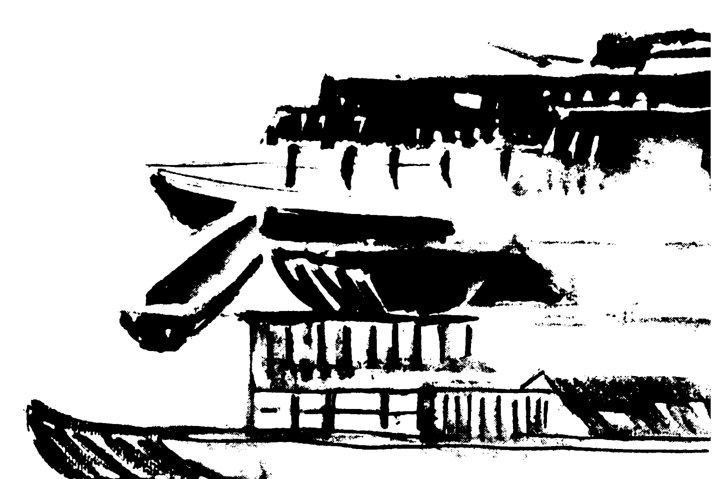


ВЕЛИКИЕ ЮЖНЫЕ ВОРОТА. СЕУЛ









ОЗЕРО БИВА



ФУДЖИ-ЯМА



НАРУЖНАЯ СТЕНА МЕДИНА. УЖДА

ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ КОГАНЕЙ

Он джентльмен, ученый и поэт. В прошлом он занимал высокие посты в деловой жизни и на дипломатической службе Японии. Владея в совершенстве главными европейскими языками, включая русский, как и китайским, нет ничего удивительного в том, что его дипломатическая карьера охватывала ряд географических имен, от Владивостока до Стокгольма, от Тегерана до Пекина и Парижа и Лондона, и десятка других мест до высокого поста в Синцзине, одной из самых серых и скучнейших столиц мира, в столице империи Маньчжуго, основанной японскими властями на тысячелетнее существование — как и Третий Райх Берлина — но которой суждено было протянуть двадцать с небольшим лет.

Джентльмен из Коганей живет в своей усадьбе вблизи Токио, в живописной местности, избежавшей сокрушительные налеты американских воздушных сил в конце Тихоокеанской войны. Приглашает он к себе к вечеру, настаивая быть точно в назначенный час, при чем это время значительно варьируется в течение года.

Встречая гостя, он не проводит его в дом, где в передней полагается снять обувь и затем пройти внутрь; он спешно проводит его в сад по расчищенным дорожкам мимо кустов алых рододендронов и пунцовых азалей, клумб синих ирисов и золотых хризантем, мимо пруда с розовато-белыми чашечками лотоса, мимо холмиков с миниатюрными храмами наверху, дальше, дальше, все ускоряя шаг, пока он не приходит к открытому месту со скамьями и, опускаясь на одну из них, простирает в восхищении руку на запад — и там во всем блистательном величии поднимается гора Фуджи, её снежная вершина в розовом пламени заходящего солнца.

Его лицо озаряется улыбкой, но блеск в глазу и его влажность добавляет к выражению почти детской радости чувство грусти старого одинокого человека. Он сидит некоторое время, поглощенный величественным зрелищем. Но вершина Фуджи белеет в потемневшем небе, он поднимается со скамьи и ведет своего гостя в дом.

Джентльмен из Коганей ученый, человек широких интересов, знаток и почитатель древнекитайской философии и классической поэзии. Конфуций, Лао-тзе, Манг-тзе были близкими ему именами и он часто упоминал их, цитируя на память их изречения о порядках жизни, об управлении народами, золотом правиле, о «тао», пути к естественной простоте.

С таким же чувством восхищения, как и перед Фуджи-яма в закатный час, он бегло переводит на русский или английский стихи Ли По, Тао Чиен, Ту Фу и других китайских классиков, живших в первые века нашей эры.

Он также знаток и мастер японской поэзии, достигнувший — по своему скромному признанию — значительного совершенства в двух её утонченных формах *танка* и *хокку*.

И все же, при всей любви к стихосложению, он больше не открывает страницы двух томов своих стихотворений, чтобы прочесть хотя бы одну строку. Изредка, как перед Фуджи-яма, в минуты слабости, не совладая с собой, с тем же влажным блеском в глазах, он берет их в руки, бережно касаясь шелкового переплета с оттиснутой золотой хризантемой, удерживая себя от желания открыть один из них и заглянуть внутрь. Эти два тома было всё, что осталось от его привычки писать каждый день по одному стихотворению. Начал он тогда, когда его сын отправился на войну, и каждое стихотворение было хроникой его надежд на счастливое возвращение. Писал он их обычно в утренний час медитаций и надежд в своем кабинете, единственной европейской комнате большого барского дома, сидя за письменным столом

против обрамленной фотографии подтянутого молодого человека в форме офицера японской армии. И закончил он их тогда, когда он получил известие из Военного Министерства, что его сын не вернется с сырой удушливой земли Новой Гвинеи.

В тот день он оставил незаконченным второй том, завернул оба в бумагу и отложил всторону. Вот тогда его правый глаз стал казаться чуть больше из-за опущенного века, на котором время от времени повисает слеза.

Он забывал обо всем, прерывал разговор и впадал в молчание, когда его мысли возвращались к тому дню и к последнему стихотворению. И когда он заговаривал вновь, он упоминал о веере, простом японском веере, из которого вынули штифт и он распался на части. Для него сегодняшний мир, как и его собственный, это такой веер, ненужный, непригодный ни для какой цели. Весь мир, кроме собственного, это Япония. Ни о каком другом он не думает. Все его мысли на одном: почему, каким образом и за что такое несчастье для его страны!? Ещё недавно всё шло так хорошо, фортуна войны была на её стороне! А сожженный Токио, а капитуляция!

Джентльмен из Коганей глубоко опечален. Весь его мир в печали. Даже дождливый день, необычный для осени, которая так прекрасна в этих местах! Это он понимает и объясняет запросто: дождь — это слезы Японии. Он говорит эти слова с извиняющей улыбкой и его глаз увлажняется слезой.

Ничего хорошего он не видит для настоящего до тех пор, пока не будет найден штифт и веер не примет своей обычной формы. В жизни страны это патриотизм, любовь к своей стране, вера в неё, готовность ради неё пожертвовать своей жизнью.

— Ах, если бы так, — вздыхает он, впадая в молчание и качая головой. Он принимает всё, как человек, гражданин, буддист, и что ещё важнее — как хороший японец. Но кто же найдет этот потерянный штифт?

Теперь, с разгромом страны, потерей сына и закрытой навсегда для него поэзией, всё, что осталось для него — жить в пустоте, «торричельевой пустоте», добавляет он для явного эффекта. Ничего другого он и не хочет. Он знает о несчастной судьбе погорельцев в Токио, спящих с семьями под открытым небом. Он мог бы приютить кое кого из них, дом у него большой, места хватило бы на многих! Ведь всего в доме он и старая служанка, да старик садовник, который живет в садовой пристройке.

Склеп? Слишком большой для одного человека? Но кроме него он заселен древнекитайскими философами, учеными и поэтами, его жизнью о сыне, которого нет, и мыслями горькими, скорбными об Японии, об её несчастной участи, об её пути, намеченном судьбой — слепой судьбой, которая не видела, что будет за первым поворотом на этом пути, ни за вторым и ни за третьим.

Токио
Октябрь, 1947

НЕОТВРАТИМАЯ ПЕЧАТЬ

Невероятно странное, до этого момента никогда неощущаемое чувство подвергло его в трепет и страх: с неожиданностью прорвавшегося потока его кровь ринулась к голове и там залила мельчайшие сети кровеносных сосудов мозга. Но это было только на мгновение, так как наступившая острая боль словно от сдавленного стальным обручем черепа притупила все другие чувства.

Затем наступил покой, такой же странный и до этого незнаемый. Сколько времени прошло между этими периодами он не мог сказать, зная только одно, что с ним случилось что-то неправимое: одна сторона его тела оказалась омертвелой и его вспухший язык с отвратительным ощущением беспомощности заполнял всю область рта.

Повернуть тела он не мог. В комнате никого не было, что казалось странным, хотя он смутно припомнил, что он выслал всех, кто был в ней ещё недавно. Он нашел себя лежащим на оттоманке одетым, даже в мягких сапогах-чувяках; рядом на низком столике лежала трубка и стоял недопитый стакан красного вина. Как будто всё, как было обычно, и всё же...

Затем ещё один провал — небытие и забвение, о продолжительности которых он не мог судить. Когда же он вновь пришел в себя, он заметил перемены, что там, где он лежал, находились люди. Но не это занимало его, как то, что его мозг работал с торопливой напряженностью, нагромождая перед ним с живой четкостью события прошлого. Примиренный чувством непоправимости, он осознал, что ему оставалось только блуждать мыслями по страшными тенями этого прошлого.

Без всякого интереса к присутствию людей, стоявших от него на почтительном расстоянии, он узнавал кое-кого из них, его сотрудников, тех немногих, оставшихся в живых за крутые годы его собственной жизни.

С тем же равнодушием он скользнул глазами по лицам незнакомых людей, не задерживая на них внимания и всё же замечая, что они были встревожены и даже напуганы. Решив, что это были вызванные врачи, он задержал на мгновение свою мысль на причине их страха, так как недавно была арестована группа видных московских врачей по вымышленному обвинению в отравлении советских сановников. В другое время он отметил бы это со смешком, но теперь ему было не до них.

В короткие моменты сознания между провалами его угрожающие видения теснили его воспаленный мозг, проводя перед ним всё темное, что было в его жизни.

С окончательным чувством отрешенности, но уже без какого-либо безучастия, а с чувством любопытства, он вспомнил, как почти тридцать лет назад он смотрел на парализованное лицо другого человека, скуластое, с желтыми подтеками лицо всемогущего владыки, как те, которые смотрели теперь на него, с скрытым ходом тайных мыслей и торопливым ожиданием конца, когда нужная смерть завершит дело и он примется за свое, и в первую очередь посчитается с теми, кто был или мог быть на его пути. Они были его сподвижниками, близкими участниками и проводниками дела революции.

Сподвижники и проводники — пока они не сели на скамьи подсудимых московских показных судов! Всё, что отделяло его от них, был тяжелый занавес, за которым, посапывая трубкой, сидел он, и вслушиваясь в показания уже обреченных людей, сверял их с заранее разработанным текстом.

* * *

Он хотел оглянуться вокруг, но не мог повернуть тела и только обвел глазами по стенам и потолку, перенесясь

мыслями от подмосковной дачи к кремлевским палатам, низким, душным, зловещим, таивших в себе глумление, жестокость и коварство, легкое прикосновение к насильственной смерти.

В одной из них в порыве неудержимой ярости Царь Иоанн Грозный прибил беременную невестку за дурное платье, и когда за неё вступился её муж, он в ещё большем ослеплении гнева ударом жезла умертвил своего первенца Царевича Ивана... В тех же палатах, оставленный всеми, кого он считал преданным себе, в страхе, что распадется его московское государство, умирал Борис Годунов («О, злая смерть, как мучишь ты меня!»), придавленный зловещей тенью Грозного, в тяжких терзаниях души и лютых угрызениях совести перед обагренным кровью образом Царевича Дмитрия...

* * *

Он перевел с трудом глаза, чтобы отвернуться от собравшихся людей, которые молча с загадочной скрытностью смотрели на него и опять задумался о Кремле и его палатах, о месте рождения российского бунтарства и козней, предательства, вероломства и измены; о месте бесжалостного истребления непокорных и лютом подавлении крамолы; о кремлевских правителях, измученных при жизни тенями своих предшественников, казнимых терзанием за невинно пролитую кровь своих близких, сынов первородных, заточенных и умерщвленных жен терявших разум от неотвратимого проклятья кремлевских палат.

Он сделал ещё одно движение приподнять свое парализованное тело с той силой, которая всегда была у него, сухого, поджарого человека, но она опять сдала ему, но кремлевские видения продолжали оставаться с ним.. Красная площадь с наспех сколоченными помостами, на которых молодой Петр с царевыми палачами рубил головы взбунтовавшимся стрельцам... Тайный Преобра-

женский приказ, стоны пытаемых заплечными мастерами Петра по делу его первородного сына Алексея «за родительское непослушание, непотребство и измену», по тому страшному делу, которое началось в кремлевских палатах и завершилось в только что воздвигнутом Санкт Петербурге, в присутствии самого царя, когда вздернутый на дыбу Царевич Алексей отдал свой замученный дух, чему в царевых бумагах того времени было уделено несколько скупых слов: «и учинен был застенок...»

* * *

Это видение тяжело потрясло его. Он обвел глазами присутствовавших, заметили ли они его страх или нет. Впереди них он распознал тучную фигуру Маленкова, который, казалось, как наследник, распоряжался чем-то, но другое видение отвлекло его... Красная площадь, морозное утро, 177 лет тому назад, железная клетка, в которой привезли из приказа вора и мятежника Емельку Пугачева... Палачи в красных рубахах, пробавлявшиеся вином, прощание осужденного с народом перед казнью четвертованием...

После мыслей о Пугачеве, навеянных образом Маленкова, в венах которого текла кровь тех же яицких мятежников Лжепетра Третьего, он продолжал лежать в трепете, несмотря на парализованное тело. Вид Маленкова показался ему особенно отвратительным и он не мог не вспомнить тот день, когда он стоял перед таким же разбитым, который чуть не за час до этого — как и он сам — обладал властью таких властелинов, какими был известен древний мир Халдеи, Египта, Ассирии...

Ещё с семинарских дней он помнил вычитанное в Библии изречение о царе Навуходоносоре, восклицавшем в своих чертогах: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силой моего могущест-

ва и в славу моего величия», чтобы тотчас же услышать голос с неба: «Тебе говорят, царь Навуходоносор: царство отошло от тебя, и сердце человеческое отнялось от тебя и далось тебе сердце звериное. И отлучен ты от людей и питание твое с полевыми зверями; травой будут кормить тебя, как вола, и разум отвернется от тебя».

* * *

Душные темные кремлевские палаты, к которым он принадлежал по злой наследственности, коварство, вероломство и злодеяние которых распространились далеко за пределами Кремля и Москвы. Если он сам был неповинен в деяниях отдаленного прошлого, он был не только соучастником и соумышленником, но и прямым зачинщиком советских злодеяний в других странах.

София, дело болгарского вождя Петко Трайтова, единственного коммуниста, который во время суда, заранее предрешившего его судьбу, открыто заявил, что признание его несуществующей вины было вымучено у него под пыткой в коммунистическом застенке... Это нарушило программу суда и заставило коммунистическую прессу замолчать на два дня, пока в кремлевских палатах готовилась передовая для Правды, что у Трайтова «бегающие глаза и вкрадчивый голос вора», открытие, которое нельзя принять за неожиданное в той близкой коммунистической семье, где каждый знает друг друга в течение многих лет; и что у Трайтова «уродливо искривлена спина», хотя можно бы прибавить, что это было следствием попытки к самоубийству, когда Трайтов четырнадцать лет до этого выбросился из окна четвертого этажа царской охранки, чтобы под пыткой не выдать своих.

От Трайтова его мысли перешли к Райку, старому коммунисту и второму всесильному лицу в правительстве Венгрии, которого перед тем как судить по такому же вымышленному делу возили дважды в Москву, чтобы в тех же кремлевских палатах прорепетировать с ним его

будущие судебные показания в несодеянных им делах, и после всего этого глумления повесить перед глазами его жены, заточенной в той же будапештской тюрьме, еще одну жертву его злодеянию, еще одно заклание чудовищному коммунистическому богу...

«Чего они ждут», подумал он с острой тоской, видя ту же молчаливую группу перед собой; сознанание вновь притупилось в нем, но странным образом перенеслось к видениям прошлого, к суду над главными коммунистами в Праге, над его недавними сотрудниками, верными деятелями общего дела революции, ставшими по его замыслу, по его одержимости к расправе, новыми жертвами прожорливого чудовища во имя неотвратимого проклятия душных спертых кремлевских палат, пропитанных насквозь лиходейством, кознями, вероломством, заговорничеством, предательством, омраченных зловещими тенями своих обитателей...

Теперь, в этот последний час жизни видения прошлого давили его, если не раскянием и угрызениями совести, то сознанием тщстности, ненужности, непоправимости всего содеянного. Несколько раз он возвращался в смутных просветах сознания к тому дню или ночи, когда за двадцать один год до этого, в тех страшных кремлевских палатах погибла Надежда Аллилуева при таинственных обстоятельствах, о которых знал только он один.

* * *

Не видя больше столпившихся в углу людей, он обвел глазами комнату и всё, что мерещилось им, были страшные видения, кровь невинных, их муки, порочные замыслы, козни и казни, вероломство и обман, страх и жестокость, бунтарство и крутое подавление — все низкие последствия темных кремлевских палат. Куда бы не повернулось его ухо, он слышал сквозь грохот крови, хлынувшей к голове и звон в барабанных перепонках, крики и стоны пытаемых, свист кнутов, короткие выстрелы в

одинокие часы ночи в глухих чекистких подвалах Лубянки, слепые расправы не только с инакомыслящими, но и теми, кто имел хоть каплю мужества не пресмыкаться перед ним.

* * *

Придавленный теснившими его призраками кровавых кремлевских палат, изнуренный страшными видениями, сам в ужасе от всего темного и злого, содеянного им и присовокупленного к злодеяниям прошлого, как и подсказанного для будущих лихолетий подобных его царствований, несчастный и запоздало очеловеченный Сталин то отходил, то вновь приближался к ним с неутомимой жаждой терзаний и самобичевания, в тяжком сознании о своей пропитанной жестокостью жизни и насильственной смерти своих сотрудников, ближайших ему людей, как и смерти миллионов совершенно невинных под неотвратимым кремлевским заклятием; в мыслях о сильных сего мира, владыках и деспотах, перед которыми всё трепетало и падало ниц, но души которых были измучены страшными призраками, как его самого, пока наимилостивейший деспот, смерть, не прикрыла его черным покрывалом.

Азабу, Токио
Июнь, 1953

ПОРТУГАЛЬСКИЕ ЗАПИСКИ

ЛИССАБОН

Как приличествует царственному городу, Лиссабон покоится на нескольких холмах. По одним подсчетам их семь, по другим девять. Какие другие города, кроме Рима, Афин, Истанбула, Неаполя, Сан Франциско, представляют такую величественную панораму!

Первое знакомство с городом походило на королевскую аудиторию. Она была настоящей статс-дамой, с породистым носом, магнетическими глазами, подчеркнутым изгибом бровей. Всё в ней было величественно, словно затянутая в строгое платье, в дорогих кружевах, благоухая духами и сверкая драгоценными камнями, в мелодичном звоне золотых и серебряных браслетов, она появилась на королевский прием.

Уы, это был всего лишь информационный отдел Португальского Туристического Бюро при морской пристани да Роша на берегу реки Тэгус, где пассажиры с иностранных кораблей справляются об отелях, обязательных мест для посещения и фотографирования, курсе денежного размена, климате, еде, безвредности питьевой воды и других вещах, усложняющих жизнь туристов.

Она возвышалась величественно над столом, не сводя недоуменных глаз с телефона; указательный палец её правой руки быстро выписывал в воздухе круги, словно набирая телефонный номер; её левая рука была тесно прижата к царственной груди в выразительном утверждении «поверьте вы мне».

Она была задета. Больше, она была оскорблена. Её голос дрожал от справедливого негодования.

— I speak and telephone, he no speak. I speak again — ещё несколько нетерпеливых кругов в воздухе в хоровом бренчании браслетов, — and he no speak. I no understand, why he no speak.

Не волнуйтесь, Ваше Высочество! Это может вредно отразиться на вашем драгоценном здоровье. Кто знает, может быть отельный клерк ещё смакует утреннюю чашку кофе «экспрессо» или ведет увлекательную беседу с человеком, оказавшимся у его стойки. Подождем с полчаса. Неторопливое течение жизни вашей страны начинает благотворно захватывать нас. Мы из той пораженной Богом породы людей, которые спешили всю жизнь и которые только теперь радуются видеть тех, кто не спешат, пока не сели за руль фольксвагена или мини-моррис и не погнали, как одержимые.

Но это другая история.

* * *

Этот такси-шофер сочетал в себе первоклассные свойства представителя приветственной комиссии торговой палаты, городского гида, нежданно приобретенного друга, увлекательного рассказчика и осатанелого автомобилиста. Кроме того, он был тем, кто известен в этих краях, как «симпатико».

Он оказался полон тончайших переживаний, когда рассказывал на густой смеси англо-испано-франко португальском воляпюке о своей жизни, которую так обильно украшали и губили женщины. Он забывал о руле, пока его руки передавали в воздухе те сложные чувства, для выражения которых у него не было слов. Он поворачивался лицом к своим омертвелым от страха пассажирам, проверить, уловили ли они глубочайшую сложность его переживаний, загадочно улыбался кому-то вдаль, махал рукой знакомым встречным, подмигивал дружески полисмену, руководившему уличным движением, чуть не сбив его деревяный пьедестал, пока его оголтелый мер-

седес отважно врывался в самую гущу автомобильного движения на уличных перекрестках.

Он был таким «симпатико», что нельзя было не простить ему того широкого круга, каким он удалялся от данного ему адреса. Он наслаждался прекрасным утром, опасной игрой автомобильной гонки, своими пассажирами, в которых он признал «симпатико»! Кроме того, он передал только малую часть сокровенной повести о том, что творили и творят женщины в его жизни.

Он круто свернул в сторону и ворвался в такую узкую улицу, что казалось его мерседес должен был выпустить воздух и втянуть в себя бока, и, несясь под низкими балконами и вывешенным бельем, взлетел на гору.

— Альфама! — Его голос отозвался отдаленнейшим эхом от каменной горы, населенной задолго до рождения Христа, когда Лиссабон назывался Улиссипон в честь Улисса, героя античной Эллады.

Он забирался круче по узкой улице, грузно наваливаясь на гудок и отшвыривая пешеходов к стенам домов, весь в ажиотаже от драматического представления, которое он готовил. Он втиснулся в низкую арку в каменной стене старинной крепости Св. Георгия, бросил своего тяжело дышашего мерседеса под тенью тополей и повел быстро своих пассажиров к малиновому пятну бугапвилии, висящей над террасой. Там он остановился и сделал пространное движение рукой: «всё, что вы видите, всё ваше. Больше я ничего не могу сделать для вас», и в изнеможении опустился на скамью.

Поистине это было драматическое представление! На трех четвертях гористой площади лежал Лиссабон. Над красными черепицами крыш в лучезарном небе белели купола средневековых соборов. Голубела вода огромного устья реки Тэгус, её противоположный берег таял белесоватой синевой. Над ней, занимая полнеба, клубился розово-палевый дым сталелитейного завода. Океанские корабли и нефтеналивные танки стояли на якоре, ожи-

дая нагрузки или ремонта в Лиснаве, в одном из крупнейших сухих доков мира; пассажирские ферри, белые чайки, реяли с одного берега на другой. У выхода реки в Атлантический океан кипела жизнь большого делового порта. Поднимались и опускались лебедки грузившихся кораблей, грохотали железные ковши, выгребавшие из барж песок и гравий. Широкая набережная была запружена грузовиками, автомобилями, мотоциклами, вдоль её бежали поезда, трамваи и автобусы.

Вправо, над центром города, на одном из его крутых холмов чернели развалины готического собора, обвалившегося во время землетрясения 1755-го года. Ниже его, утопая в зелени деревьев и цветах, сверкая бронзой фонтанов, лежала площадь Руссиу с памятником короля Дон Педро. Влево, вплоть до бывшей Дворцовой, ныне Коммерческой площади, шли улицы, сохранившие названия средневековых гильдий — ткачей, золотых и серебряных дел мастеров, оружейников, негоциантов по пшенице и восточным пряностям, поставщиков корабельных снастей и провианта — ставших ныне биржевым, деловым, банковским центром города.

Сама площадь, окаймленная с трех сторон однотипными зданиями министерств и украшенная в центре конной статуей короля Хозе Первого, выходила фронтом на набережную, откуда отчаливали ферри, отвозя тысячи пассажиров на другой берег реки.

Вправо от площади Руссиу и площади Реставрации шел один из широчайших в мире бульваров — Авенида да Либердаде, с просторными аллеями, восемью рядами высоких деревьев, с проточными бассейнами, мраморными статуями, заканчивающийся импозантным памятником маркиза де Пумбал, премьер-министра XVIII-го века, реставратора Лиссабона после землетрясения 1755-го года. За памятником поднимался в гору огромный парк Эдуарда, в стороне, за лесом горы Монсанто высились антены государственного радио.

Возвращаясь ненасытным глазом к реке, видишь линию моста Салазара, напоминающего мост через Золотые Ворота в Сан Франциско. И за ним, на холме противоположного берега, в розоватом сиянии неба высокий силуэт распятия.

Как бы ожидая этого момента, шофер такси, опустив голову в знак смирения, пояснил:

— Him, el Rei Cristo.

И опять осатанелая гонка в сгущенном автомобильном движении на лиссабонских улицах. На момент мелькнул монумент Дона Педро, против которого должен быть отель Метрополь, но одержимый мерседес всё несся вперед, пока его мастер не задержался у кирпичного круглого здания с византийскими куполами.

— Corrida de Touros, — сказал он значительно. — Бой быков. Campo Pequeno. En Portugal bull, him no kill. En Espanha, — с нотой печали в голосе, — bull, him die. En Portugal bull, him no die. You like him die?

* * *

Лиссабон замечателен своей смесью древности и современности. Старинный город, населенный за много веков до рождения Христа, крепко держится вдоль берега Тэгус. Здесь, в рыбачьем порту сотни женщин разгружают с баркасов рыбу. Все они полнотелы, коротконоги, плечисты, безшеи, грудасты, круглозады, с мощными короткими руками, босоноги, с голыми икрами, словно вылитыми из чугуна. На их головах чуть не пудовые ящики с сардиной, цвет их лиц, рук, ног, ступней жгуче бронзовый, опаленный солнцем иных стран и забытых тысячелетий. Действительно, эти женщины другая порода: дремуче-древнее, мистическое, полузвериное, получеловеческое чуется в них, в их походке, движениях, выносливости, слышится в их резких, пронзительных голосах, в нечленораздельной речи. В их венах ещё звонко бьется кровь Карфагена, Крита, Финикии и древнейших наро-

дов, затерявшихся в суммирийских сумерках, ранних поселенцев иберийского побережья.

Седая старина вокруг. Узкие зигзаги крутых улиц Альфамы, Мадрагоа, Шабрегаш и других древних мест города уводят в бесконечную глубь лабиринта времени. Старики и старухи медленно бредут по изношенным ступеням лестниц в символической изобразительности. Розовые, желтые, багровые, зеленые стены отштукатуренных домов, смытых первыми дождями минувших столетий, сливаются в выцветшую гобеленовую ткань, обрамленную мозаичным тротуаром снизу и красными черепицами крыш сверху.

Узкие улицы приводят к площадям. Некоторые из них царственно величественны с статуями королей, государственных мужей, поэтов, с фонтанами, чугунными скамьями, прудами с плавающими птицами. Другие более скромны, с одной скамьей и одним памятником забытого адмирала или генерала. Есть только площадки каменных лестниц, стиснутые с двух сторон домами, с балконов которых над головами пешеходов висит белье; но и они прелестны своим простым украшением — стройным тополем, золотящимся в прозрачной синеве неба, или небольшим водоемом и журчащим фонтаном для питья. Здесь можно передохнуть и насладиться замирающей дух панорамой города, перед тем как взяться за другой лестничный пролет в поднебесье.

Неожиданно, сворачивая с одной из таких узких улиц, попадаешь в парк размером в два или три квартала. Тенистые аллеи, нарядные клумбы цветов, мрамор памятников, бронза фонтанов, няньки в белых передниках с младенцами в колясках, скучающие полисмены, дети, гоняющие мяч, и богатейший мир птиц: южно-китайские павлины, белые и черные лебеди, японские цапли, аисты, райские птицы, нильские ибисы, цезарки, гуси, утки всех пород и сортов. Все они живут в прудах или проточных водоёмах, у каждой породы свое место, свое жилье. За-

бот никаких! Приставленные к ним сторожа ходят за ними, кормят их вдоволь. На бесплатном пропитании голуби и воробьи. В Сан Франциско отцы города штрафуют сердобольных старушек за кормление голубей. В Португалии животные, домашний скот, собаки, птицы пользуются правами гражданства, их не притесняют, не мучают, как это делается во многих других странах. Несмотря на быстрое и довольно беспорядочное уличное движение, собаки и автомобилисты придерживаются взаимного понимания: первые искусно лавируют между автомобилями, пересекая улицы; вторые тщательно следят, чтобы не поколечить их. В самых бедных домах на балконах и в окнах висят клетки с попугаями, канарейками. Любовь к детям, животным, птицам отличает этот народ от некоторых других. Вид младенца, пускающего пузыри, приводит в умиление переполненный автобус. Люди останавливаются на улицах, чтобы потрепать дворового пса. Даже бой быков, зверский уж потому, что против одного быка выступает восемь хорошо вооруженных людей, не кончается здесь убийством, а лишь легким ранением.

Лиссабон полон памятников. Короли гарцуют на откормленных лошадях, генералы бесстрашно опираются на эфесы шпаг, адмиралы со свертками карт и подзорными трубами в руках зорко всматриваются вдаль. Большей свободой пользуются деятели искусства: их позы как и одеяния разнообразны, кто в рединготах, кто в байроновских плащах, кто в сюртуках. Глубокие творческие мысли переданы морщинами на лбу и проникновенным взглядом. К молодым из них в той же мраморной глыбе приставлены для вдохновения голые женщины.

КОЛОДЕЦ ЕПИСКОПА

Из своеобразных названий площадей Лиссабона вызывает интерес Poco do Bispo, площадь Колодца Епископа. Нет сомнений, что старинные книги хранят повествование и о колодце и об епископе.

Площадь в одном квартале от реки Тэгус в полчаса езды на трескучем трамвае от Коммерческой площади.

В небольшой гавани несколько тяжелых барок выгружают чугунное литье и соль. У набережной причалены морские корабли, ожидающие погрузки. Стаи чаек носятся с криками над водой. Пахнет гнилью, илом, отработанным паром, машинным маслом, жареной рыбой.

Близко к полдню. На баркасах грузчики начинают жарить на углях сардину, подгоняя конец выгрузки к моменту, когда закипит на рыбе соль. На мешках с солью и штабелях литья выложены буханки хлеба, оливки, бутылки вина. Бездомные, но в отменном теле коты подбираются на запах рыбы. Из здания с надписью «Полиция» выбегают бравые кавалеры, застегивая на ходу пояса с палками и револьверами сменить других на посту.

Полуденный гудок. Пустынные до этого улицы заполняются рабочим людом из фабрик и складов, обгоняющим друг друга, чтобы попасть в рестораны и забегаловки. Кофейни ещё пусты. Их время через 20-25 минут, когда, позавтракав, этот люд хлынет в них на чашку душистого кофе и рюмку бокассо, местного коньяку.

Площадь Колодца Епископа — крохотный треугольник, стиснутый трамвайными рельсами. По сравнению с другими городскими площадями не из видных. Поди и епископ был из захудалых. Колодца не видно, но на том месте, где он мог быть, красуется ржавый писсуар. Служит ли он своей полезной цели, неизвестно, так как заботливые отцы города соорудили рядом нарядное зданьице с приглашающими названиями на дверях: «Senhora» и «Homen».

ВИД С БАЛКОНА

Просторный балкон наверху десятиэтажного здания под безоблачным лиссабонским небом залит солнцем с утра до заката. Полгорода лежит под ним, то поднимаясь, то спускаясь с горы на гору. Вдали над черепичными

крышами высятся шпили собора Францисканцев и Базилики Эстрелла, как и леса телевизорных антен. Вправо, где крыши опускаются к подножью горы, видны часть реки Тэгус, зеленые холмы другого берега и синеющая даль Атлантического океана.

Над рекой висят пролеты моста Салазара, а за ними на крутом холме высится статуя Христа с распростертыми руками. Он стоит на высокой платформе, покоящейся на четырех гранитных пилонах. С балкона видно только два из них, и вся статуя, слегка потерянная в утреннем тумане, напоминает огромный штопор.

Внизу под балконом перекрещение нескольких улиц. По самой широкой идут автобусы, сперва под аркой древней городской стены, затем под аркой автострады, которая дальше разветляется на три ленты; главная идет на лесистую гору Монсанто и дальше, на Кайлуш, летнюю резиденцию португальских королей, на Синтру, Эсториль, португальское Монте Карло, с рулеткой и казино, и местожительством безтронных королей, и Кашкайс. Две других ленты расходятся спиралями: одна на юг, к мосту Салазара, другая на северо-восток, под римские арки акведука к границам Испании.

В низине за дорогой вдоль высохшего русла реки в лачугах, сколоченных из ящиков и ржавого железа, ютится беднота, цыгане. Здесь, у подножья одного из богатейших городов мира, готовят пищу на подобранных детьми щепках, а вечерами сидят с огарками или идут спать с наступлением темноты.

В треугольнике, оформленном автострадой и полузастроенным пустырем, с десяток узких улиц с домами в двести-двести пятьдесят лет. Самый высокий из них в пять этажей, если считать помещение под крышей с мансардным окном, на широком подоконнике которого молодая мать кормит младенца. Кое-где среди камней, цемента, выцветших стен и черепичных крыш поднимается запыленная листва деревьев.

К стенам домов, как ласточкины гнезда, лепяться отхожие места, определяя, как и телевизорные антены, период более позднего развития. Балконы и дворики забиты стиральными приспособлениями, тазами, чашками. Всюду шесты с веревками для сушки белья.

Жизнь кипит внизу. Склонясь над стиральными досками и тазами с мылом, женщины целыми днями заняты стиркой белья, словно в этих домах в десять раз больше обитателей, чем в действительности. Если они не заняты стиркой, они выбивают ковры, скребут полы и подоконники. Бережливость во всем. В мыльной воде от стирки полощат детские горшки, затем моют ею тротуары.

Скученность — вот, что бросается в глаза. Семьи большие, много женщин, бабушек, теток. Около занятых женщин вьются маленькие дети, кое-кто из них для удобства в одних рубашках. Бедность? Далеко нет! Антены телевизоров над крышами, на окнах кружевные занавеси, искусное изделие жительниц острова Мадера. В школьные часы из этих домов выпорхает детвора в белоснежных, туго накрахмаленных халатиках.

На тесных улицах играют дети и собаки, здесь их много. Девочки возятся с куклами, мальчики гоняются друг за другом в увлекательных авантюристических играх. Нужно исключительное воображение, чтобы на голом месте создать обстановку мальчишеской романтичности. потайные убежища, засады, неожиданные нападения. Негде спрятаться, нет досок, ящиков, из которых можно было бы построить воображаемые крепости. Для собак ещё труднее: ни пожарного крана, ни почтового ящика.

Казалось бы такие условия должны породить перебранки среди женщин, крики, драки детей, битье собак, пьянство мужчин, жалобы друг на друга. Но этого нет! Все — взрослые, дети, собаки, коты, голуби — живут в полном ладу. Много детей? Но все они от Господа Бога, все ангелы и херувимы, ласковые, доверчивые, в какой то степени почтительные.

По вечерам мужчины собираются в одном из трех учреждений треугольника, обслуживающих их досуг. Это просторные, слабо освещенные места с немногими столиками, прилавком со скудной закуской и бочками вина и пива вдоль стены. Здесь можно выпить вина с содой или пива с мокрыми бобами, поиграть в кости и карты, просмотреть вчерашние газеты.

В эти часы женщины находят время высунуться из окон или выйти на пороги домов посудачить с соседками. Дети и собаки носятся с большим азартом в наступающей прохладе. Солнце за лесом Монсанто. Полнеба пылает оранжево-розовым пламенем.

На автостраде больше нетерпеливых гудков, сирен амбулансов. Темнеет небо. Елочными огнями зажигаются тросы моста Салазара. Нити голубого света связывают уличные фонари.

Ещё минута — и золотым сиянием озаряется статуя Христа на лиловом фоне небесного алтаря. С опущенной головой, распростертыми руками, с ногами, словно установленными на ходулях, Он, казалось, готов сойти к реке Тэгус, перейти её вброд и выйти на лиссабонский берег к Мадрагоа, к его улицам с матросскими кабаками и притонами. Не то, что город так уж нуждается в духовном спасении! Лиссабон не грешнее другого портового города. Нет! Скорее полюбопытствовать, что делается в этом городе, известном задолго до Его рождения, как живут в тесноте и скученности люди и как они делают это с улыбками, заразительным смехом, в доверчивом тепле, довольствие и мире.

ДВА ДИАЛОГА В БАНКЕ

В Первом Банке

Всё говорило о том, что банковский клерк был занят важным делом: с большой старательностью и любовью он штамповал бумаги. Прежде чем хлопнуть гуттаперчевой печаткой по отвернутому листу в толстой пачке бу-

маг, он внимательно осматривал, нежно дыша на неё, проверял ещё раз, не пропустил ли он что, осторожно касался фиолетового тюфячка в металлической коробочке и остро нацеливался. Его радовало, что из всех служащих банка ему одному поручили такое важное занятие. Впереди будут другие повышения по службе.

Трещали телефоны, удлинялась очередь у занятого клерка до выхода на площадь Дон Педро Четвертого. Пачка бумаг не спеша приближалась к середине, но сбоку лежали две других, ожидая любовного прикосновения руки клерка.

Никакое робкое движения, глухой кашель в кулак, переступание с ноги на ногу не производили никакого впечатления. Клерк продолжал любоваться своим мастерством. Он удобно облокотился о прилавок, его голова склонена к плечу, нижняя губа глубокомысленно выпячена вперед. Ног не видно, но можно быть уверенным, что он подогнул одну, а другой оперся широким концом носка об пол, чтобы стоять, не уставая.

Дойдя до половины пачки, он остановился. Вот теперь время обратиться к нему. Но он, не отрывая глаз от бумаг, достал из левой подмышки пачку сигарет и покопался в паху за зажигалкой. Закурив, он внимательно проследил, как дым вился к потолку, затем неожиданно повернул голову к ожидающему, всмотрелся испытующе и загадочно, словно вовлекая его в опасную конспирацию, тихо спросил:

— Да?

— Мне нужно разменять чек.

— Разменять чек?

Он всматривается ещё пытливее в лицо клиента, заволакивая его облаком табачного дыма. Можно было думать, что он не верил себе, что он ослышался.

Кстати или некстати припомнился случай в Японии, когда нужно было отправить поездом собаку. Железнодорожный клерк на станции Токио моментально ожи-

вился. «О, собаку в другой город! Один момент». Он поднял телефонную трубку: «Аноне, аноне», и долго совещался относительно пса. «А какая собака?» «Бульдог». «А, бурдогу! Один момент». Опять длительное совещание по телефону. «А сколько лет бурдогу?» «Четыре». «А, четыре?» После совещания: «А как отправить бурдогу?» «В особом ящике». «А, в ящике?» После десятка других вопросов и телефонных разговоров клерк заявил: «К сожалению наша железнодорожная компания не перевозит собак».

— Отчего же не разменять, конечно можно.

Посмотрев с сожалением на пачку непроштемпелеванных бумаг, он достал книжку квитанций, проложил листики копировальной бумаги и потянулся за паспортом. Споткнувшись на иностранном имени, он проверил ее с именем на чеке, сверил паспортную фотографию с оригиналом, вздохнул, словно собираясь заметить: «Ну и постарел же ты, голубчик, за последнее время!»

Он заполнил квитанцию, подсчитал на счетной машине стоимость чека в эскудо, вписал цифру и поставил под ней закорючку, означавшую подпись. Оставалось получить от него один из листков квитанции и встать терпеливо в очередь у железной клетки кассира.

Клерк продолжал любоваться своей работой, сверяя квитанцию с чеком. Вдруг лицо его изменилось и застыло от неожиданности. Чтобы прийти в себя, он так глубоко затянулся сигаретой, что можно было закоптить все нутро, щелкнул пальцем по чеку и заявил с сознанием служебной осторожности, что разменять его не может.

Почему? После таких долгих стараний? Он всматривается ясными доверчивыми глазами в лицо просителя, стараясь понять его вопрос — почему.

— Подпись — переходит он опять на конспиративный тон. — На чеке. Я не могу удостоверить ее.

— Так это же подпись директора одного из самых больших банков мира. Чек банковский и на нем типо-

графским способом отпечатаны название банка, адрес, номер его, имя директора.

— Неважно, что всё это отпечатано, — говорит он, берясь за печатку. — Важно то, что я, лично я, не могу удостоверить подпись на чеке.

— Кто же может?

Он теряет терпение, поражаясь невежеством этих иностранцев. — Только главный банк на Rua do Ouro, вблизи порта.

Можно ли успеть туда в тяжелом уличном движении, когда банки по субботам закрываются в полдень? Если нужно, то можно успеть, говорит его вид, радуясь, что наконец он освобождается от докучливого человека. Его локоть упирается о прилавок, голова склоняется к плечу, нижняя губа выпячивается вперед, чтобы нежно дышать на печатку.

В Главном Банке

Часы показывают пол двенадцатого. Достаточно времени для размена чека, чтобы не голодать до понедельника. В банке тишина, сонные клерки, почти нет посетителей. Окно с вывеской Размен Валюты. Клерк в клетчатом пиджаке. Печатки не видно. Слава Богу!

— Разменять чек? О, один момент!

Радуясь, что можно разогнать скуку, он бодро берется за пачку квитанций, вооружается самопишущим пером, открывает паспорт на нужном месте.

Выписав всё, что нужно, с примерной деловитостью и быстротой, он расчленил квитанционные листики, передал один из них клиенту, пришпилив остальные к чеку и перебросил их в железную клетку, потревожив этим легкий сон кассира.

Но как простой, неискушенный человек может предугадать, что ожидает его в этом сложном мире!

Как только первый клерк передал чек кассиру, другой клерк, рангом старше, поднялся со своего места. Было

что-то угрожающее в самом движении. Казалось, он только и ждал этого момента, зорко следя за процедурой выписки квитанции, чтобы наброситься на чек. На несколько минут он погрузился в изучение бумаг, посмотрел на потолок для проверки, забрал их и скрылся в недрах банка.

Равнодушные ко всему часы отсчитывали время. За несколько минут до полудня кипучая деятельность охватила служащих, отряхнувших от себя летаргический сон: кто спешно убирал со стола бумаги, кто распушивал густые баки и бороды, кто нетерпеливо переминался с ноги на ноги. А клерка с чеком всё ещё не было.

Наконец он возвращается. Его лицо выражает важность и сознание хорошо исполненного долга в предохранении банка от рискованной финансовой операции.

— Банк не может разменять ваш чек.

— Почему? Подпись?

— Подпись в порядке.

— Так почему же нельзя разменять?

Клерк терпеливо изучает лицо навязчивого клиента, как и клерк в первом банке. «Ну и бестолковый этот народ иностранцы!»

— Просто потому, что я не уполномочен менять чеки, если они на сумму больше, чем 200 долларов.

— Следовательно кто-то другой уполномочен менять чеки на большую сумму?

Вопрос коробит его. — Это другое дело. Я могу говорить только от своего имени. Я — особенно подчеркнуто — я не уполномочен.

— Что же делать?

Его лицо принимает сердобольное выражение. Видно, что он готов помочь всем, чем может — кроме размена чека — этому незадачливому иностранцу.

— Напишите в ваш банк в Сан Франциско с запросом об его размене.

— Так для этого он и послан, чтобы разменять здесь!

— Я ничего не могу сказать для чего он послан. Запросите ваш банк, пусть он потвердит.

— Сколько же времени потребуется для этой ненужной переписки?

— Пустяки! Какие-то две-три недели!

— А как с моим отелем, хлебом и вином? С женой, тещей, малолетними детьми? Один грудной. С болонкой?

Бородатый клерк смотрит на седую голову просителя и делает все усилия, чтобы не подавиться со смеху.

— Две-три недели. Кто-то провел в пустыне сорок дней и сорок ночей и ничего!

— Так нет?

Сердобольный клерк прижимает руку к груди.

— Поверьте, рад бы сделать для вас всё! Но просто не уполномочен!

ПРАЗДНЫЕ МЫСЛИ

Осанистый, круглогрудый лебедь закинул к небу голову и прогорланил от удовольствия. Было от чего прийти в восторг. Октябрьский день выдался исключительно пригожим. Ласковые лучи солнца пробивались сквозь листву деревьев и золотили цветную мозаику тротуаров Авенида да Либертаде.

Черный лебедь был достойным сюжетом для поэмы или портрета сановника, пользующегося всеобщим уважением. Не могло быть сомнения в том, что в этом проточном водоеме он занимал немалое место. Заканчивая свой туалет, он ещё раз распушил хвост, заглянул туда клювом, и теперь усердно занялся боками, выдернув несколько лишних перьев из подмышек, спрыснул их водой и старательно промассировал.

Довольный собой, он отогнал лапой листья и траву и задрал круче голову, чтобы в чистой зелени воды полюбоваться черным отражением груди и крыльев, пластическим изгибом шеи и красным пятном клюва. Красавец, черный нарцисс!

От радости он расправил крылья и бодро для небольшого моциона пробежался по воде, прогорланил ещё раз и похлопал себя игриво по бокам: «Тяжеловаты-с, ваше превосходительство»!

Спохватившись, он внимательно посмотрел вокруг: не заметили ли сидевшие за столиками бульварного кафе некой легкомысленности в его поведении, не соответствующей его годам и солидности. Он повернул голову к другому концу водоема, где под мраморной глыбой Нептуна находилось лебединое убежище, кратко горланул и строго ждал, пока оттуда не появился другой лебедь и шлепая косыми лапами по спуску к воде не поплыл с заметной ленцой.

Второй лебедь казался неряшливым, словно всё утро провалялся у себя в чулане на тощем тюфяке с сыщиками в руках. Глупо ухмыляясь и лениво загребая одной лапой, он описал широкий круг по воде и остановился. Первый лебедь повел брезгливо носом: «Ты, любезный, сходил бы как-нибудь в баню! А то распространяешь такое амбре, что не продохнуть. Перед людьми совестно! Видишь, седовласый господин с пивом в руках всё поглядывает и в книжку заносит. Пропишет и про тебя, поверь моему слову. За лебедей неловко!»

Праздные мысли продолжают блуждать в голове. Написать роман из великосветской жизни. «Она отдалась графу в его родовом имении... Тревожно шумели столетние липы... Печальная луна глядела из-под насупленных облаков... Грустила ли она о слабосильном графе или о ней, несчастной жертве общественного темперамента?»

Вспомнилась строка из *Сатирикона*, вычитанная ещё в отдаленнейшую пору невинного детства: «Она умоляла графа на коленях». Включить в первую главу, не указызывая источника (никто не знает, откуда), развив на широком психологическом полотне и заставив читательниц мучиться вопросом: на чьих, своих или графа-рамолика.

Глава вторая. «Молодым офицером, блестяще закончив четырехмесячную школу прапорщиков, Вова вернулся домой. Там было тихо, как в часовне. Мама ходила на цыпочках и не сводила с первенца больших грустных глаз. От нечего делать Вова заглянул в столовую. В столовой папы не было. Папа был убит на фронте».

Ну, довольно! Надо только признаться в плагиате: две последние фразы заимствованы из рассказика некоего уважаемого автора, напечатанного в одной из наших газет.

Кстати, насчет уважаемых. У нас все уважаемые. Уважаемая публика, уважаемая администрация, не щадящая сил и затрат. «Я здесь уважаемое лицо». Уважаемый всеми пристав Хапуга, и дальше в том же духе, исключая, понятно, писем, где в зависимости от литературного вкуса пишущего надо прибавить «глубоко» или «много». Иначе сочтут за невежество, а то и за хамство.

Длинное слово и не всегда внятно выговариваемое, особенно в затянувшихся банкетных речах. В Японии, где есть многое, чему поучиться, оно сведено до одной буквы. «О фуро», уважаемая баня, «о сасуми», уважаемые ломтики сырой рыбы; «о стампу», уважаемая почтовая марка. Этот писанный красавиц лебедь был бы «о сваму», если преобразовать его английское название на японский лад.

Вот так бы свести многие слова до одной буквы, как было бы легко обмениваться глубокими мыслями!

ПО ПЕРВОМУ РАЗРЯДУ

Двумя часами позже после знакомства с красавцем лебедем. Из-за угла бодро выкатил щеголеватый черный автомобиль и вклинился в движение вдоль Авенида да Либертаде. Он высокий, просторный, меньше автобуса, но больше мерседеса. Сверкая черным лаком, он весь благородство и величие.

В конце квартала зеленый свет сменился красным и

уличное движение замерло. Теперь можно разглядеть его лучше.

Похоже на катафалк, но обычного хвоста погребальной процессии не видно. Надо промяться, встать из-за столика кафе, подойти ближе и полюбопытствовать.

Массивный резной гроб покоится на пьедестале. По правую сторону его гуськом сидят вдова усопшего и осиротелые детки, по другую соболезнующие родственники и друзья, утопая совокупно в венках и цветах. Впереди, в двух шеренгах сидят шофер и пять других человек, все в черном. Это «фунерарии», служители похоронного дела. Их лица торжественны и кроме скорби выражают желание добраться чинно и благородно до места вечного упокоения без вульгарной перебранки с шоферами такси. Кроме того, ласковый октябрьский день сеял вокруг всеобщее любвиобилие.

Хочется расспросить о многом. Какой марки этот величественный автомобиль и сколько в нем цилиндров? Если пока ещё нет нужды, во сколько может обойтись такое важное передвижение по городу?

Почему нет процессии или как наша пресса любит говорить «кортежа»? Может быть и лучше, что нет. Меньше торможения в уличном потоке с десятком автомобилей позади с плакальщиками, помышляющими о поминальном столе. Если разобраться по сути, вряд ли у кого наберется соболезнующих друзей больше чем на четыре кресла сбоку усопшего.

Действительно, чего же лучше! В карете уютно, все вместе. Когда же ещё встретимся, родимые!

Интересно, куда повезут. Если направо, надо полагать на Ориентальное кладбище в восточной части города.

Движение тронулось. Нет, сворачивают налево. Значит на Cemeterio dos Prazeres, кладбище Удовольствия, оно же «Всех Радостей».

Слава Богу, что туда, а не на Ориентальное! Ведь день то какой, одно удовольствие! Просто не нарадуешься!

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Часом позже после встречи с катафалком. Солнце ещё высоко, но уже подумывает о том, что пора сворачивать к закату. Мысли настроены на сугубо меланхолический лад. Думается о бренности существования и суете сует. Сегодня ты, а завтра я. Заказать ли ещё бутылочку пива или уже довольно? Вот если из-за угла покажется священник или монах, а то просто симпатичный господин...

Вместо духовной особы показывается кругловатый господин, утопающий в густых баках, оглядывается вокруг в поиске места и делает движение рукой: можно ли присесть?

Он достает пачку сигарет, крутит ее, соображая, предложить или нет. Нагибается вперед, ощупывает ботинки, жмет их в подъеме и у пальцев, вздыхает, вот скажет: «Купил, не примеривши хорошо, так и оказалось, жмут в этом месте». Видно было, что бакам хочется поговорить.

— Alemao?

Нет, не немец.

Искоса поглядывая, он прикидывает в уме, кто мог бы быть этот человек, обставленный пивными бутылками.

— Ingles?

Любопытство расжигает его ешё больше. Он опускает голову, опираясь локтями о колени, глубоко затягивается, утопая в табачном облаке, чтобы там сосредоточиться на животрепещущем вопросе.

Он быстро ударяет пальцами правой руки о левую ладонь, его лицо принимает осмысленное выражение, глаза блестят от сознания своей догадливости.

— Turista?

— Sim, senhor, turista! Es bom?

— Bom, muito bem!

Знакомство состоялось, все довольны. Баки ещё внимательнее рассматривает своего нового друга. Ему хочется задать ещё один вопрос и сделать это как можно деликатнее, подготавливая его рядом движений плаваю-

щей рыбки, поигрыванием мускула под смуглой щекой и доверчиво-ласковым взглядом глаз.

— Ocupacao?

Что это, род занятий? Ответное движение руки игривой рыбки, показ на ласковое солнце и батарею бутылок на столе.

— Ocupacao aqui. Es bom?

Баки затряслись в добродушном смехе. «Bom, muito bom»!

Хорошо другому смеяться и считать, что всё в порядке. А если глубже разобраться в сущности жизни, есть от чего загрустить, а то и смахнуть непрошенную слезу... Вот тот-же катафалк: был человек и нет его! А это может случиться с каждым!

Сообразительный человек с баками принимает серьезное выражение лица, вскидывает брови так, что они касаются густой шевелюры.

— Porque?

Он внимательно изучает движение рук своего собеседника, ударяющего себя в грудь ниже левой ключицы и затем повторяющего волнообразное движение в воздухе.

Баки ещё раз изображают сложную игру бровями, выпячивают нижнюю губу и всматриваются так глубоко, словно готовы пронзить глазное яблоко, зрачек, хрусталик, всё то, что делает глаз глазом, чтобы выразить недоумение — почему?

— Espirito!

— Banco Santo e Espirito, — тревожно спрашивает он. Что могло случиться с банком Святого Духа, одним из самых надежных в мире? Он похлопал себя по правому борту пиджака, в сохранности ли бумажник, прошелся пальцами по воздуху, словно подсчитывая деньги, дунул на них — были и нет. Не так-ли?

— Нет, сеньёр, не динейро, не деньги, а другое...

Что-же может быть ещё? Баки и брови принимают вопросительное положение, плечи поднимаются к ушам и

руки с повернутыми вверх ладонями и раскрытыми пальцами застывают в нетерпеливом вопросе: в чем дело?

— Спирито. Псих... Душа, ну как это по-португальски?

Кажется, доходит. — А что с ней, сеньёр?

— Болит. — После заглядывания в карманный словарь. — Sofrir. Душа страдает, вот, что с ней.

Баки вздыхают участливо, но глаза смотрят недоверчиво: чудак этот турист! — С чего же ей страдать?

— Вы лучше спросите, с чего ей не страдать! Вот повезли недавно человека на кладбище Удовольствия.

— Ну и что?

— Может быть ещё на прошлой неделе сидел на этом месте, кормил золотых рыбок, а теперь вот что...

Баки смотрят то на своего собеседника, то на золотых рыбок в водоеме, не зная, вздохнуть ещё раз или засмеяться.

— Жизнь короткая, вот что. Vida es breva. Не успеешь оглянуться, как уже повезут...

Но теперь надо смеяться. Баки смотрят на седые волосы страдальца и через них на даль веков. «Vida es breva!» Вот шутник! Он оглядывается кругом и ударяет другого по плечу легкими пальцами: посмотри, что делается вокруг! Коротконогий пес, добродушно посмеиваясь в косматую бороду, семенит между несущимися автомобилями. Вот встречаются два приятеля, хлопают любовно друг друга по спине и заливаются звучным смехом. Вот проходит шумная ватага девиц с зеленоватым ободом глаз, одно удовольствие видеть! Где-ж тут страдать душе и жаловаться на короткую жизнь. Он тычет туриста в бок и показывает маслеными глазами на девиц.

— Las meninas son bonitas?

— Bonitas, bonitas, — оживает турист меланхолик, приподнимаясь с места, чтобы лучше разглядеть девиц.

Баки изучают его с минуту, затем показывают на его грудь ниже левой ключицы. — Больше не болит душа!

— Нет, не болит.

— Es bom?

— Muito bom!

Баки смотрят на часы и соображают: поговорить еще с этим шутником или довольно! А куда ушли девицы? Он поднимается, сует руку для пожатия.— Adeus, senhor

— Adeus e muito obrigado!

Какой внимательный господин, до всего доходит! Как приятно поговорить по душам с таким симпатичным человеком!

ЧАСЫ МАРКИЗА ДЕ ПУМБАЛЬ

Авенида да Либертаде в последнем квартале, где она упирается в подножие величественного памятника маркиза дэ Пумбаль, реставратора Лиссабона после землетрясения 1775 го года.

Со скамьи поднимается фигура и зорко приглядывается к ботинкам и фотографической камере в руках прохожего определить на-глаз, не из Америки ли этот турист, страны доверчивых людей. Смуглое лицо цыганского типа, черная поросль до плеч, пиджак, небрежно накинутый на плечи по моде лиссабонских франтов того времени.

— Мистер, как вы себя чувствуете в этот счастливый для вас день?

— Счастливый для меня?

— Так как вы встретились со мной!

— А я с вами?

— Exactomento! Я покажу вам что-то... Если вы думаете, что я разверну перед вами коллекцию неприличных фотографий в живых красках, вы глубоко ошибетесь! Никто в моем роду не падал так низко...

— Надеюсь, нет! Упаси Боже!

Он вынул из кармана футляр, завернутый в вату и бумагу и кинул осторожный взгляд на маркиза, покоившегося на высоте шестиэтажной колоны, не прислушивается ли он к его словам, и на львов, охранящих у подножья

монумента покой вельможы, не насторожились ли они.

— Музейная редкость! Настоящее место для хранения Британский музей или Лувр под непробиваемым стеклом при охране в 24 часа в сутки. Редкостная вещь, могущая принести баснословное счастье, если попадет в правильные руки. Это было проверено не раз. Вы слушаете меня?

— Как же, с огромным удовольствием! Только о чем вы говорите? Что это такое?

— Часы маркиза де Пумбаль.— Он ещё раз взглянул на памятник, как бы ожидая подтверждения оттуда. — Богач, один из самых влиятельных людей того времени, слава, успех во всем. Видите, что он сделал? Ведь все же это было разрушено и только он один воссоздал всё... Предания приписывают успех и великие дстижения маркиза его часам, их сверхъестественной силе... Талисман! Умер, как все смертные. Кому же достались часы, как не его племяннику, моту и бездельнику! Поговаривали, что он их украл. Дело не в этом! Как только часы попадают в его руки, он в ту же ночь в казино Эсториль под их залог выигрывает миллион эскудо! На вторую ночь — два миллиона! Вы слушаете меня?

— С огромным интересом. На третью ночь три миллиона?

— В третью ночь пронес всё, задолжал, просил денег отыграться. Скандал! Тут ещё всплыла история с кражой часов, ну, полное бесчестье: племянник великого человека в тюрьме...

— И теперь они у вас? Каким образом?

— Длинная история! Можно написать десятки томов: международные интриги, предательства, кражи, пролитая кровь. Коварные женщины. Рассказать об этом?

— Нет, не надо! Что ж вы собираетесь сделать с ними?

— Поместить их в хорошие руки. Последняя цена на них было 50.000 эскудо, но это давали два года назад. Теперь понятно выше. Такому приятному симпатичному человеку, как вы, я могу предложить их за полторы ты-

сячи эскудо.

— Ну, как это мило! Говорят, что в мире нет больше приличных, порядочных людей! Как это неверно! Я должен признаться вам: моей страстью всегда было иметь какую-либо вещь, память о великом человеке. Но часы маркиза де Пумбаль! Это превыше моих самых пламенных мечтаний! Как верно вы подметили при нашей встрече, что это счастливый день моей жизни — счастливейший, я сказал бы! Но я смущен, ведь это такая жертва с вашей стороны! Я понимаю и ценю взаимную привязанность с первой встречи, желание дать новому другу всё самое дорогое — как это замечательно! Но скостить с 50-60 тысяч эскудо до полутора тысяч! Большая жертва! Я не сделал бы этого даже для родного отца... Что я мог бы вам предложить: у меня имеются часы неаполитанского короля, 17 камней, завод на 24 часа в сутки. Всё ещё хранят тепло волосатой руки его величества. Как повторяется история! Такой же беспутный племянник, суматоха во дворце, кража королевских часов, безумие в Монте Карло за игрой в баккара, в первую ночь выигрыш под залог часов в миллион луидоров, во вторую...

— Давайте переменим тему разговора, — нервно говорит он, отступая назад и прикрываясь рукой, как от налета грузовика. — Мы понимаем друг друга с полслова. Что часы? Это только повод завязать приятное знакомство!

— Как верно сказано!

— Что бы я сейчас предложил укрепить это знакомство — пройти к порту и там в Мадрагоа у меня есть хороший друг, который хотел бы с вами познакомиться и сдружиться.

— Как это замечательно! Что может быть лучше хорошей дружбы! Что же он хочет от меня?

— Ничего особенного, просто познакомиться с хорошим человеком, он так ценит порядочных людей. Исключительно для них он и держит бар! Не для матросов

и портовых грузчиков, а для высокой клиентуры! Для пожилых туристов значительная скидка. Вы, конечно, не против спиртных напитков?

— Конечно, нет!

— И регулярно?

— Боюсь, что да. Создал себе привычку каждый вечер после обеда выпивать полрюмки вашего превосходного портвейна.

— Да, — протянул тот со вздохом разочарования. — Немного! Отчего же так?

— Годы, возраст, слабость во всем.

— А, ну, пройдитесь? Вы ходите прямо!

— Я всю жизнь ходил и хожу прямо.

— Замечательно!.. Что я имел в виду: зайти сперва к моему другу, познакомиться с ним, узнать его доброту, гостеприимство, а затем ко мне.

— А что у вас?

— Скромно! За большим я не гонюсь. Вроде пансиончика. Да и заселен, главным образом, моими племянницами.

— И сколько же их?

— Шестеро.

— Это что же, экономический расчет: меньше не выгодно, не оплачивает, а больше беспокойно и накладисто, не так ли?

— Не только это! Главное то, что не уследишь. А нет контроля, и уплыли ваши денежки, куда не следует!

— Да это известно, что и говорить! Что же вы хотите от меня?

— Ничего особенного! Просто познакомиться, поглядеть. Есть такие шалуньи, такие проказницы, просто не нарадуешься. Я знаю, что вам...

— А вы знаете, что я англиканский епископ из Южной Африки?

Недоверчивый взгляд и поспешное движение, на всякий случай, подойти под пастырское благословение.

— Ну это совсем кстати! Благонравное наставление..

— Но пристойно ли мне?..

— Отчего же нет? Есть ещё более седовласые и те интересуются!

— Я не о годах... А, что они грешат ежедневно?

— Главным образом еженочно. Правда, грех греху рознь. Как вы на это смотрите?

— Я вообще против греха.

— Что же вы делаете?

— Молюсь за грешниц.

— В одиночестве?

— И в одиночестве и в массе.

—Вдвоем пожалуй эффектнее...—Он смотрит на новоприобретенного друга и его взгляд выражает одно: столько времени потрачено зря и с часами маркиза, и с приглашением к симпатичному содержателю бара в Мадрагоа, не говоря ничего об его племянницах. Он больше не слушает, все равно ничего путного нет. Жаль потерянного времени.

Он оглядывается по сторонам и вдруг оживает вновь: от ротонды памятника маркиза де Пумбаль бодрой туристической походкой шагает упитанный господин в ботинках американского фасона; две фотографические камеры свисают с его открытой шеи, украшая рубашку яркой гавайской попугаевой раскраски. Никаких сомнений нет, что этот то не подведет!

Джентльмен цыганского типа передергивает плечами, чтобы удобнее сидел накинутый на них пиджак и спешит навстречу американским ботинкам.

— Мистер, как вы себя чувствуете в этот счастливый для вас день? — слышится сквозь гул уличного движения.

ИСКУССТВО ЖЕСТИКУЛЯЦИИ

Уменье скрасить речь, сделать её полной и памятной надолго — дар Божий. Надо родиться с ним, хранить его бережно, развивая его виртуозной гибкостью.

Выразительность человеческого общения далеко не суть сфера одного голоса, магической работы голосовых связок, а охватывает чуть ли не всю человеческую анатомию. Но главная часть этого дара принадлежит рукам, пальцам, плечам, голове, глазам, рту, бровям и при особой виртуозности — ушам.

Речь понятно идет об искусстве жестикуляции, о роли ее в развитие человеческого общения, об её обогащении словесного изложения. Это аккомпанимент, так же необходимый речи, как необходим аккомпанимент рояля для солиста. И подчас неизвестно, что лучше, одно или другое.

Несомненно, что зарождение этого искусства, сперва в грубой, примитивной форме, совпало с постепенным развитием осмысленных потребностей человека, когда его мычанию, нечленораздельным возгласам потребовалось нечто другое для понимания. Тут на помощь и пришли руки, плечи, голова, пальцы и тому подобное.

Одним из первых проявлений этого искусства представляется так: молодой пещерный житель, отважившись пройти за пределы знакомых мест, увидел по другую стороны горы несколько неизвестных женщин. Он приманил других молодых людей показывая на женщин, помахал одобрительно в воздухе сложенной ковшиком рукой, что означало лишь: «Совсем не плохие, а?» Этот выразительный жест сохранился поныне среди северных обитателей Средиземного моря. В Греции, принимая во внимание особый темперамент и «афинские ночи», к нему прибавляется сочное мужское причмокивание: «О, по-по».

В основном, искусство жестикуляции состоит из разнообразных движений тела для более живого подчеркивания радости, удивления, неожиданности, любопытства, восторга, насмешки, сомнения, отрицания, горя, страха, отчаяния и тому подобных чувств. Но это далеко не всё! Оно богато изобретательностью, изощренным щегольством, блистательным феерверком! Взять, например, это

движение: откинутый назад корпус, вывернутое коленце, особый поворот головы, торжествующий блеск в глазах и щелканье ногтем мизинца — какой красочный эффект для хорошо отточенной фразы!

Насколько большую роль играет жестикуляция в жизни этих народов можно судить по следующим примерам. На допросе о совершенных им убийствах связанный разбойник грек заявил, что ничего не может сказать, пока не развяжут ему руки. Когда молодой итальянке принесли только что родившегося ребенка и она заметила его деформированную руку и сросшиеся пальцы, она в отчаянии завопила: «Бедный бамбино будет заикаться всю жизнь!» Старая португалка усовещала своего тяжело парализованного мужа: «Зря ты, Родриго, ропщешь на Господа Бога, будь благодарен, что Он оставил тебе брови и уши и ты можешь сказать все, что тебе нужно».

Таких примеров можно привести множество, иллюстрирующих значение искусства жестикуляции в повседневной жизни обитателей северных берегов Средиземного моря.

Какое же отношение искусство жестикуляции может иметь к русскому читателю, если такой ещё существует в Зарубежьи и который может появиться в Советчине лет через пятьдесят или сто?

Не говоря о том, как оно приукрасит русскую речь, оно внесет в неё значительную экономию, так как такие повседневно ходкие выражения, как «расскажите вы ей», «не учите меня жить», «видал-миндал», «а, ну-ка, попробуй», «ещё чего захотели», «ах, зачем эта ночь так была хороша», «не наводите тень на плетень», «как в сказке» и тысячи подобных им могут быть легко и красочно переданы перебором плеч, изгибом бровей, выпяченной челюстью, виртуозной игрой рук и пальцев, сверканием глаз — всем богатейшим запасом изумительнейшего искусства жестикуляции.

ПОД ЗНАКОМ СИМПАТИКО

Зодиакальных знаков, как известно, двенадцать, отмечающих периоды времени, в которых каждый проявляет свое влияние, так, например, у скорпиона это от 14 октября до 22 ноября, а у каприкорна от 22 декабря до 20 января.

Так заведено повсюду, но не в Португалии. Здесь есть ещё один знак, отличительной чертой которого является то, что, не имея строго установленного срока, он распространяет свое благотворное влияние на все времена с одинаковой силой.

Знак этот называется «симпатико» и если человек рожден под ним — а в Португалии таких счастливчиков невероятное множество — что бы ни случилось с ним, в какую беду ни попал бы он, вплоть до тюрьмы и петли, он всегда симпатико.

Другая отличительная черта этой классификации — в то время как рожденные под различными зодиакальными знаками называют себя то ягненком, то весами, а то скорпионом, никто в Португалии не назовет себя симпатико. Другие могут это сделать, но не он сам.

Действие этого знака одинаково распространяется как в отношении времени, так и числа людей, живущих под ним. Климат, влияние солнечных лучей, особенности страны, отцовское отношение к возлюбленным чадам и многие другие ещё не изученные полностью причины дополняют это благотворное действие.

Рожденных под знаком симпатико легко отличить в толпе, хотя бы потому, что в Португалии она обычно состоит полностью из них. Вот она движется живописной массой по бульварам и улицам Лиссабона, подолгу задерживаясь на самых узких местах, в гуле нарастающих голосов, восклицаний, в обильном движений рук, пальцев, плеч, голов, глаз, бровей в наисложнейшей гамме жестикуляции. Это торжественное шествие подобно свя-

щенным процессиям, мистическим ритуалам древних веков, так почитаемых народами Средиземного моря.

Люди ходят в обнимку то парами, то по три и четыре человека в ряд, заглядывая друг другу в лица, то прижимаясь крепче, то неожиданно останавливаясь там, где этого требует беседа или где невозможно на ходу передать особый жест. Лица рассказчиков и слушателей отражают молниеносные перемены. Если руки сцеплены с другими руками и жаль их разнимать, жестикулируют подбородками, шеями, всем, что способно двигаться на лицах, как губы, уши, носы, брови, вплоть до гусиных лапок.

Официальный цвет Португалии серый — полиция, почтальоны, банковские рассыльные, шофера, трамвайные и автобусные служащие, швейцары, уборщики улиц, музейные сторожа и тому подобное облачены в серые формы, но португальская толпа поражает изобилием красок, цветов костюмов, обуви, причесок, бород, бакенбардов, наколок и кос.

Гордо закинув головы в пышных коронах седых волос фланируют баритоны и тенора в отдаленном отблеске отшумевшей славы. Узловатые моряки с норвежского грузовика, рыжебородые, с квадратными челюстями и варяжскими носами тяжело громоздят по тротуару. Пожилые учительницы из Англии, плоскогрудые и плосконогие, с прическами желто-фиолетового цвета в тон веснушкам на серых лицах, сдобренных птичьими носиками, шагают чинно в смутной надежде на грехопадение. Красавцы в клетчатых брюках в обтяжку с раструбами внизу, полужигало с большими зачатками кидают выразительные взгяды на дочерей Альбиона и обжигают их знойным дыханием: «халло, бейби».

Торжественно выступают рука-об-руку пожилые семейные пары, задерживая уличное движение, жены в оживленном словоизлиянии и жестикуляции всем, чем возможно; мужья в замкнутом молчании непроницае-

мых лиц, как и полагается всем, прожившим бок-о-бок долгую безмятежную жизнь.

Человек с густой бородой подобие черной повязки, поддерживающей тяжеловесную челюсть, чтобы не упала. Другой красавец с галстуком такой ширины и длины, что под ней нет нужды ни в рубашке, ни в брюках. Очаровательные девушки с зеленоватым обводом глаз что придает им ещё больше кошачьей прелести.

Два других франта. Они только что встретились и как обычно бывает в этой доверчивой стране сразу же сдружились. Тот, кто повыше, положил свой локоть на плечо другого и оперся квадратным носком ноги о мозаичный тротуар, чтобы можно было стоять долго, не уставая. Он достал пачку сигарет, выбил одну из них одной рукой, чтобы не прерывать живую жестикуляцию другой, и повел оживленный разговор. Что из того, что лицо другого исчезало в табачном облаке? Разве они не симпатико, amigos на всю жизнь? Что из того, что при расстовании, записав имена и адреса друг друга на сигареточных коробках, они выбросят их, как только докурят последнюю сигарету!

Вот мальчуган, украшение модного кафе Швейцария, в галунах и эполетах щеголеватой формы, приветливое лицо, подкупающая улыбка, в руках зажигалка, которой он услужливо чиркает, как только кто либо берется за сигарету. Ещё несколько лет такого занятия, а там подавать кофе и коньяк или оказаться за прилавком банка, если подвезет фортуна, в таком же костюме земляничного бламанже, как у бородатого франта, который только что поднес сигарету ко рту.

Пятилетний малыш прильнул к стене лестницы метро, пока его мать следит с живым интересом докатится ли лужа до первого ряда столиков уличного кафе. Гордые красавицы, недоступные ниже установленной цены, плывут богинями в счастливой толпе. День ещё весь впереди... Слава в вышних и на земле благоволение... Солнце

не щадит ни сил, ни расходов ради такого обильного сборища симпатико на улицах города. Стихийно нарастают добрые чувства и безбрежная любовь к ближним. Размягченные официанты начинают по-божески накидывать на счета доверчивых туристов. Стаи голубей, пролетая низко над фланирующей толпой, крепятся изо всех сил, чтобы ничего не сбросить сверху. Щеки спящих в колясках младенцев мокры от поцелуев прохожих.

Олимпийского вида банкиры и биржевики, любовно держа друг друга за лацканы дорогих костюмов искусственного шелка, легко переходят в живой беседе от падающего доллара к падающим женщинам. Они такие симпатико, что готовы отдать ключи от банковских кладовых любому, кому было бы не жалко расстаться с улицей и толпой.

Молодая пара влюбленных. Ещё издали они выбирают узкое место на тротуаре, чтобы там коснуться самого живейшего вопроса. Она ускоряет поток слов, то ударяя своего кавалера по плечу концами пальцев, то быстро бросая их, как по струнам гитары, поперек ладони левой руки. Всё это ещё ничего. Следующее движение может быть хуже, поэтому он и следит зорко за игрой на воображаемой гитаре. Если она повернет руку ладонью вниз и ударит по ней концами пальцев, то дело плохо: «Если не можешь купить мне туфли на пробковых каблуках, то хоть угости миндальным мороженым. А если и этого не можешь, вот тебе обручальное кольцо, возьми и подавись им».

Толпа, понимая чутко положение кавалера, терпеливо ждет, пока уличный затор растягивается на два квартала. Руководящий уличным движением полисмен вначале приглядывается к нему, но распознав, что причиной его легкий словесный обмен влюбленной пары, поворачивается к нему спиной.

Толпа движется вновь. Слышится опять нахальное «хало, беби» и от бесстыжих глаз бородатых красавцев слад-

ко замирают сердца истомившихся по любви учительниц. Продавцы лотерейных билетов, обычно хромые и слепые, выправляют походку и проявляют отменную зоркость. Босоногие цыганята тычат в лица затасканными пакетиками клейкого бандажа. Полногрудая женщина с крутыми бедрами и румяными икрами тащит на голове свернутый матрас многосемейной кровати. Матросы с крейсера Армада перебирают на потных ладонях скудные гроши и мирятся на том, что не матросское дело пить пиво за столиками.

Атмосфера великодушия, благожелательства, любвиобилия царит над всем. Новая стая голубей, скользя за вожаком на круто сниженных крыльях, спешно отлетает от толпы к памятнику Дона Педро Четвертого, чтобы на королевской площади сбросить накопившийся балласт на крыши автмообилей. В повышенном угаре любви к человечеству официанты начинают просчитывать сдачу не в свою пользу. Писанные красавицы готовы снизить таксу на 20 процентов. Продавцы лотерейных билетов божатся, что на каждый из них в субботу выдадут по 400 тысяч эскудо. Солнце помирает со смеху: «Ах, жулики!», увеличивая ещё на градус ласковое тепло.

Монументальные полисмены, расставленные по углам для украшения улиц — не свозить же для этого дня с городских площадей памятники венценосных всадников — заливаются счастливым смехом. Они давно выслужили пенсию, но как оставить других симпатико без своего участия!

* * *

И даже автор этих беглых строк, родившийся под зодиакальным знаком льва, но с переменой на родине календаря на новый стиль ставший рыбой и посему ущемленный на всю жизнь, чувствует, что и он подпадает под благотворное действие солнечных лучей, вселюбовного умиления и всеобщего ликования, что и у него не отнята надежда стать со временем симпатико.

СЕСИМБРА В СЕНТЯБРЕ

Пассажирские паромы, как чайки, белеют на широком устье реки Тэгус. Каждые десять минут они отчаливают от пристани на Плацо до Коммерсио против здания биржы, перевозя тысячи пассажиров на южный берег.

Там, где они причаливают у набережной площади Кахильках, всегда шумно и тесно от людей, собак, автомобилей, грузовиков, автобусов, начальный пункт на юг в Альгарв и на восток в Севилью, Малага и другие города Испании.

Автобусы забиты фермерами, женщинами, детьми, чемоданами, мешками с зеленью, курами, но на билетах указаны номера мест, что делает путешествие сравнительно сносным.

За площадью ветхие дома чередуются с современными зданиями апартментов. Над холмом высится монумент Христа с распростертыми как при распятии руками и склоненной головой. За ним над рекой висит мост Салазар, откуда начинается главная дорога на юг. Виноградники, сады, огороды, дачи тянутся с каждой её стороны, переходя в красный суглинок, заросший сосновым бором, весь в игре утренних лучей солнца.

Снова маленькие селенья, нарядные виллы, краснеющие черепичными крышами сквозь зелень листвы; кое где соборы и монастыри, эвкалиптовые рощи. Круче повороты и спуски, неожиданно выросшие серые камни мавританской крепости и замка, ветреная мельница на коричневом хребте выжженной горы, синеющая бесконечность Атлантического океана — и, наконец Сесимбра.

* * *

Основание этого рыбачьего поселка потеряно в отдаленнейшей древности тысячелетий. Одними из первых пришельцев издалека были финикийцы, вытеснившие доисторических жителей или включившие их в себя; за

ними пришли критяне, карфагеняне, греки из Пелопонеса. Всех их привлекал богатый улов рыбы, морской твари, благодатный климат, обилие пресной воды, растительности.

Наблюдая рыбаков, их солнцем выжженные, ветром высеченные лица, как сквозь мощный прибой они проводят загруженные рыбой баркасы на берег навстречу их женам, крепким, как и они, коротконогим, с лошадиными спинами, с мощными икрами, широкими ступнями босых ног, видишь сквозь тысячелетия ежедневно повторяемое действие! Мало что изменилось за эти века! Те же формы прочно сработанных из дуба баркасов, те же шумные валы, выносящие их на золотой песок, те же умелые руки других рыбаков готовых помочь с выгрузкой обильного улова, та же толпа, шумная, жадная до зрелищ, радующаяся возвращению рыбаков.

«Проходит тысяча мгновенных лет...» Забыть о дизельных моторах больших баркасов, качающихся на якорях далеко в море! Забыть о грузовиках, ожидающих на набережной погрузки рыбы! Забыть обо всем, что пришло позже. Стать лицом к прошлому, к осликам с платформами для ящиков со свежим уловом, уверенно ступающим без поводырей по скользкой лестнице, осторожно прокладывая путь среди толпы. На них покоятся тысячелетия! Время не прервано, не потеряно между затихшим вчера и громогласным сегодня, в её пробеге та же бурлящая жизнь, тот же крепко заправленный сгусток её, наполненная целью, смыслом, необходимостью, простая, честная, трудолюбивая, героическая.

Взгляните на старых рыбаков, оставивших море и доживающих свой век! С локтями, опершимся о парапет каменной стены они смотрят на возвращающиеся баркасы и в их взглядах сожаление, что они не там в промасленной одежде, в брызгах и пене гулких валов.

Взгляните на толпу, на тех, кто ещё молод для моря и приключенческой жизни или на тех, кто между морем

и просторной супружеской кроватью, после чашки кофе и рюмки коньяку богассо, проводят свой досуг за чинкой рыбаловной снасти или насаживанием кусков сардины на крючки. Они делают это для себя и для других охотно, с сознанием важной необходимости, продолжая то, что начали первые поселенцы тысячи лет до них.

Что из того, что нынешние сети сплетены из искусственно созданной нити, это лишь незначительная уступка времени, как прорезиненные сапоги до паха и дизельные моторы! Важно, что осталась общность, тот же дух связанности, сознание сущей необходимости их дела. Это вросло в кровь, плоть и души за тысячелетия, сохранившие неторопливо-умелые руки, зоркий глаз, отвагу, привязанность к морю, к своему ремеслу.

Взгляните на старинные дома, на каменные ступени, истертые за века миллионами босых ног! Взгляните на их жен, несущих на головах столько же рыбы, сколько несет молодой ослик. Посмотрите, как прямо ступают в скользкой жиже босые ноги рыбачек, как крепко поставлены их головы на бычьих шеях. Взгляните на шерстяные носки рыбаков, вязанье их жен, матерей, невест, вывешенные для просушки, заправляющие ещё острее запах моря, иода, рыбы, дыма жаровень. Эта терпкая, возбуждающая смесь висит над Сесимбра с первых дней, как только там появился первый человек и его женщина, собрав шерсть диких коз, соткала ему чулки держать в тепле его ноги, пока он далеко в океане выгребал из невода рыбу.

Это Сесимбра, какой она была прежде и какой желала бы остаться и впредь.

Туман стелется над горами позади верфей, где строят баркасы; за маяком на мысе Эспичель в сиреневатой синеве исчезает горизонт. Чарующий день ещё держится над золотым песком, старой крепостью в порту, над бар-

касами, качающимися на крутых валах, над толпой рыбаков у выложенной на берегу рыбой, закупщиков, хозяек, торгующихся, как могут торговаться только заядлые хозяйки, туристами, степенными осликами, оголтелыми собаками. Чайки носятся над баркасами, с криками ловя на лету выброшенную сардину.

Так было извечно, так могло быть и впредь, если бы не большое НО...

* * *

«Affluence», как и подобное русское «богатство» слово сомнительного характера. Хорошо известно, что ново приобретенное богатство принесло Балеарским островам, Торремолинос, «солнечному», «белому», «бурному» берегам Испании, мексиканскому Акапулько!

Пока сесимбрские рыбаки закидывали сети далеко в океане, а их жены готовили на берегу ящики для свежей рыбы, на тихое место налетели орды шустрых дельцов. Они деловито осмотрели всё, что их интересовало и что попало под руку, отмечая, какие старые дома убрать, во что обошлось бы снести дешевым трудом гору с ветреными мельницами, как сбить цену на землю и скупить её за гроши. Подсчитав первоначальную стоимость золотой горячки и умножив её в уме в десять, двадцать, пятьдесят и больше раз в зависимости от спекулятивного аппетита, они спешно исчезли, чтобы в Лиссабоне, раздутом от денег, добытых за Вторую Мировую войну и в Африке, сколотить капитал, посадить чертежников за планы, чтобы вернувшись в Сесимбру, взяться всерьёз за перекройку живописнейшего места.

В короткое время исчезла порожняя земля вблизи замка, срыты горы с мельницами, выкорчеваны рощи. Десятки и десятки уродливых доходных домов кирпичем и бетоном задушили Сесимбру.

* * *

Как неузнаваем этот тихий рыбачий поселок во время туристического нашествия! Мерседесы, фольксвагены, фиаты и бич Божий в руках осатанелой молодежи — мотоциклеты забивают улицы. Сынки нуворишей, лиссабонская молодежь, «meninos de bem», парни с деньгами, в прочном союзе с мотоциклетами японского производства, как самым шумным. Имена славных португальских открывателей земель — Васко да Гама, его сына Христофора, Кабралла, Магеллана и других — мало что говорят им, но они на короткой ноге с Хонда, Сузуки, Ямада и другими именами японских мотоциклетов. Вот они стоят у Центрального кафе, сборище этих недорослей, баловней судьбы, небрежно опираясь на мотоциклеты и затягиваясь сигаретами, длинноволосые, в модных костюмах, в окружении восторженных девиц, счастливых удостоиться приглашения на «вольто», пронестись бешеным ходом по узким улицам в грохоте мотора и в дыму газолина.

Душными ночами осатанелый рев моторов не прекращается ни на минуту. Утром толпы туристов спешат, как на службу, на пляж, под знойное небо или в тень палаток отоспаться за ночь. Они ходят по растянутым на песке сетям, щелкают затворами камер перед лицами рыбаков, смущают рыбачек оголенным видом своих див, оставляя за собой след пивных бутылок, арбузных корок, пластиковой посуды, пустых пачек сигарет.

Поразительна невозмутимость коренных жителей Сесимбры! Они принимают нашествие туристов, запруженные автомобилями улицы, адский рев мотоциклетов как Божье наказанье неизвестно за что, как неизбежное зло, сошедшее на них помимо их воли, с чем они не могут совладать и с чем нужно мириться, как приходится мириться с невзгодами, лишениями, случайностями рыболовного промысла, как приходится выносить суровые зимние бури в Атлантическом океане.

* * *

Сесимбра в сентябре! И позже, когда сплывает шумная волна туристов и можно ходить по улицам без страха быть раздавленным. Ласковые дни зовут на набережную, к широкому парапету каменной стены, свободному от полуголых тел дачников, по которому опять может прогуливаться Пилот, старший по возрасту и положению из всех сесимбрских псов. Вновь наплывают канувшие столетия, словно держишь руку на них, при виде рыбаков, возвращающихся домой с богатым уловом рыбы, их баркасов в шумном раскате пенистых валов, в неизменном повторении седой древности.

Август-Октябрь, 1971
Лиссабон - Сесимбра

«Больше помещать Ваших статей о Португалии не буду, т. к. о ней хорошо и много пишет Лора Норинцева».
Из письма З. А. Шаховской, редактора *Русской Мысли*.

«Помня настойчивое пожелание моих дорогих читательниц осмотреть всё в Келужском дворце, летней резиденции португальских королей, и описать как можно полнее, я не преминула заглянуть и в королевскую уборную. С понятным волнением и молитвенно сведенными руками я приблизилась к малому королевскому трону, который казалось ещё хранил тепло ног Венценосного Страдальца. С непередаваемым чувством экзальтации я остановилась за шаг до него... Сколько проникновенных чувств, трепетных дум, восторга и умиления пронеслось в моей ещё моложавой груди!!!

С неудержимым волнением я прикоснулась к фаянсовой ручке, украшенной ангелочками в венчиках из роз, достойной творения гениального Ватто, свисавшей на филигранной цепочке с лепного потолка стиля позднего рококо, к той ручке, которую Его Королевское Величество, галантнейший из галантных, в знак всемилостивейшей благосклонности предлагал прелестным придворным дамам потянуть за себя.

Могла ли я, умиленная до слез, отказать себе в прикосновении к человеческому счастью?! Простила бы я себе за бездумно потерянный, никогда больше неповторяемый миг? Нет... Никогда... Лучше не жить, чем жить с навсегда поникшей головой!!!

И так... Трепетно я сжала ручку... Беспредельное волнение заполнило меня... Слезы счастья готовы были омочить длинные ресницы моих лучистых глаз... Но лишь на момент... На краткий миг... То, что я увидела, заставило меня обледенеть, почти лишиться чувств от возмутительной выходки, которую я могу приписать только бесстыдству и наглости антироялистов и якобинцев: внизу была надпись «Водопровод не работает».

За почтенную писательницу П. Б.

ФАТИМА

Конец первой недели ноября. Воскресенье. Рано утром при выезде из Лиссабона было облачно и тепло как перед дождем. Автомобильная дорога проходит вдоль реки Тэгус; слева тянутся огороженные поля, где выращивают быков для corrida de toros, тореодорских сотязаний. Затем Сантарен, уездный ценр, старинная крепость на высоком берегу реки, железнодорожный мост, внизу рыжеватые поля и виноградники.

Дона Мария, крепкая сбитая, как тенисный мячик правит автомобилем. Её круглое лицо со смуглым румянцем щек, вьющиеся волосики вдоль челюстей и на верхней губе, глаза — черные маслины с фиолетовым оттенком — говорят о том, как важно сидеть за рулем, обгоняя грузовики, другие автомобили, повозки с лошадьми или волами. Её муж, дон Эмануель, типографский печатник, человек «с идеями», ставит себя выше её. Он сам не правит из-за боязни, но всё время говорит ей, что делать с рулем и переводом скоростей. Время от времени она теряет терпение и обливает его потоком гневных слов, в которых, судя по смачности, много крепких выражений.

Позади между двумя пассажирами — гостями из Сан Франциско — втиснута их дочь, шарообразная, как мать, с могучими плечами тяжеловеса. Присутствие дочери не смущает Дону Марию в перебранке с мужем: та или привыкла ко всему или трясет головой в тяжелой дремоте.

По дороге в Фатима — священное место в Португалии как Лурд во Франции — Мария хочет показать все достопримечательности, оставив, как на сладкое, на конец дня посещение дома, в котором родилась.

В нескольких километрах от Фатима, высоко в горах, в пустынном безлесном месте находится сталактитовая пещера Святого Антония. На каменистой площади десятки автобусов с туристами, автомобили, толпа, неизменные лотки с самодельной дрянью для сбыта неприхотливым туристам в виде корабликов из раковин, перламутровых брошек и крестиков. За лотками сбитые из фанеры отхожие места, тут же рядом прилавки с кофе, молоком, мороженым, вином и пивом. Неподалеку вход в пещеру.

Какое величие создала в ней природа по сравнению с тем, что сколочено наверху, какая царственная грандиозность, когда спускаешься под сверкающие своды огромного сталактитового собора в полном молчании потрясенных зрелищем людей!

От Святого Антония дорога вьется выше в гору. Мария показывает рукой на синеющую гряду гор. «Фатима». В её голосе звучит нотка благочестия. Вольнодум и безбожник Эмануель фыркает и, обернувшись к пассажирам, кивает выразительно в сторону жены. Та извергает поток гневных слов и попадает колесом в выбоину. Теперь настала очередь почтенного дона разразиться длинной тирадой, что она обращала бы лучше внимание на дорогу, а не на россказни старух богомолок.

Камни кругом. Кое-где пригнуты к земле низкорослые дубки и сосны. Местность моренная. Тысячелетия назад здесь прошли ледники, выутюжив гранитные глыбы в отшлифованные чаши. Студеный ветер. Редкие селенья выложенные из камня хижины овечьих пастухов. Одинокие пешеходы с палками в руках медленно поднимаются в гору, пугливо сторонясь от тяжело пыхтевших грузовиков и автомобилей. Молчаливые старухи на порогах лачуг, черные силуеты на сером фоне. Скудость всюду, Богом забытый край. Почему же именно в этих неприглядных местах появилась Святая Дева?

Дорога становится прямее и шире. Вдали, как в мираже, белеют пятна домов. Что-то похожее на купол голубеет над ними. Приближается город. Впереди показывается здание, похожее на вокзал большой станции. Его архитектура умилила бы до слез Сталина, восторгавшегося башенками, шпилями, выступами на сахарной глазури многоэтажного торта. Где здесь быть вокзалу, если нет и намека на железную дорогу?

Перед зданием простирается цементированная площадь, на которой легко уместилось бы с десяток футбольных полей американского стадиона. Ветер гуляет всю, наметая на нее зерна гранита и крупный песок. Кое-где видны группы людей, несколько стариков и старух две-три женщины в черном медленно ползут на коленях поддерживаемые под руку детьми. Всё это сосредоточено глазами не столько на вокзале, который оказался базиликой в честь Святой Девы, сколько на павилионе с коронованной Мадонной.

Рядом с базиликой стоит общежитие для паломников и при нём больница для немощных, чающих исцеления Город полон ресторанов и отелей. На всем чувствуется прочный коммерческий налет. Как отцам города не возносить Святую Деву за избрание этого места для своего появления, если и теперь, 55 лет спустя, миллионы паломников продолжают посещать его ежегодно!

Чудесное явление не было случайным. За год до него ангел в ослепительном свете появился перед тремя маленькими детьми, сказав им: «Что вы делаете? Вы должны молиться. Молитесь!»

Перед вознесением в облака он дал старшей девочке хлеб, взял в руку чашу, и дав содержимое её другим детям, сказал: «Примите и ядите, сие есть тело и кровь Христово, замученного неблагодарными. Искупите их преступления и утешьте этим Господа Бога вашего».

Маленькой Ясинте Марти было около шести лет, ее брату Франциско семь с небольшим, а их вожаку, Люсии дос Сантос, девять.

Первое появление Ангела Мира, как нарекли его позже, было в пещере Кабесо, вблизи бедного жилища родителей Люсии в Альжустер. Второе — у стены овечьего загона перед тем, как дети должны были вывести овец на пастбище. К своему первому наставлению: «Молитесь и молитесь постоянно», ангел добавил: «Светлые надежды возложены на вас в сердцах Иисуса и Марии».

Позже, время и воображение взрослых обогатили ангельское наставление детям словами, непонятными им: «Покаяние за грехи, причинившие страдание Христу, обращение грешников в безгрешные души, жертвенность, необходимую принять и нести со смирением и готовностью к страданию».

Несмотря на скрытность детей, навеянную Люсией, о появлении ангела стало известно матери последней, женщине религиозной с большим уклоном к суеверию. Живя в бедной хижине немного лучше, чем овцы, найти утешение можно было найти только в вере в лучшую жизнь в царстве небесном. Свободное от работы время проходило в беседах о чудесных явлениях, божественной силе, спасении души, молитвах об очищении от греха, повторялись наставления местного священника о праведной жизни, трудных путях к ней, смерти, после которой очищенные души приобретают блаженную жизнь на все века в осиянии белых одежд Мадонны.

Люсия была осколком от своей матери. Если обостренная религиозность последней граничила с фанатической исступленностью — возможно объяснимой патологическими причинами — то у Люсии она развилась в повышенное воображение, затаенность, в способность, присущую психически надломленным детям, принимать всё, что подсказывает их пылкий ум и что делает их такими искусными лгунами, что нельзя им не верить.

Утром 13-го мая 1917 года дети вывели овец из загона. Перед полуднем вблизи ущелья Кова да Ивия у дуба их захватила внезапно буря. В почерневшем небе засверкала молния. Перепуганные дети пали на колени, когда в ослепительном сиянии над круглой чашей дуба, чуть касаясь ногами листвы, появилась Дева.

Люсия как бы ждала этого случая, чтобы спросить: «Попаду ли я в рай? И как Ясинта и Франциско?» В последовавшей передаче Люсии ответа не последовало, но было сказано, что если кто желал бы видеть Божью Матерь, он должен пребывать в созерцании при чтении молитвы, посвященной Ей, перебирая пять разделов четок, начиная каждый с Отче Наш с повторением Аве Мария и кончая славословием во имя Её.

Пока длилось явление, Люсия успела спросить: «Правда ли, что недавно умершая Мария дос Невес в раю?» «Да». «А Амалия?» С глубокой печалью ответила Дева: «Она в чистилище и будет пребывать там до скончания веков». Затем опять книжные слова, чуждые детям: «возмещение грехов, ниспослание благодати ради спасения душ грешников».

Первое появление Девы закончилось наставлением детям приходить на это место в течение шести месяцев, после чего Она назовет себя и выскажет своё желание.

* * *

Вопреки запрету Люсии, семилетняя Ясинта рассказала матери о чудесном явлении. Отец Люсии, человек ближе стоявший к земле, дал этому своё определение: «Большинство детей возраста Люсии наделено странностями. Всё это пройдет со временем».

Осторожный отец дон Августин, настоятель местного прихода, зная о сильном антирелигиозном движении в Лиссабоне после убийства короля, заинтересовался историей детей и, опасаясь дальнейшей огласки, пытался объяснить ее тем, что Люсия могла слышать о французской

девушке Бернадетт Сибиру, которой в Лурде являлась Божья Матерь.

Известность о фатимском чуде продолжала расти. 13 июня, ко второму посещению Девы огромная толпа сопровождала детей до Кова да Ивия. Люсия перебирала четки и читала молитву. Около полудня солнце превратилось в тонкий оранжевый круг, застывший в безоблачном внезапно потемневшем небе. Над дубом появился серафический свет. На этот раз Дева сказала Люсии, что она должна учиться писать и читать и что она будет долго жить, так как Христос хочет, чтобы через неё все знали и любили бы Божью Матерь.

Следующее явление произошло 13-го июля. В полдень солнце внезапно потускнело, как при полном затмении. В воздухе сладко запахло ладаном. Мать Люсии, колеблясь между верой и суеверием, была напугана заявлением отца Августина, что это было появление не Святой Девы, а дьявола, коварно замаскированного для совращения детских душ.

В одно из своих следующих появлений Дева заявила, что 13-го октября, когда Она появится в последний раз, будет признание, кто Она.

Чарльз С. О'Коннол, описывая эту сцену несколькими годами позже в книге «Свет в Фатима», увлекся настолько, что подразвил ещё дальше фантазию маленькой девочки или добавил то, что нарасло в поздней передаче. Кроме видения Святой Девы перед Люсией предстал ад с несчастными грешниками, «плавающими среди смрадных отбросов и жутких чудовищ омерзительной формы, разрывающих их острыми когтями в душераздирающем хоре воплей».

«Да», признала страшную картину Дева, «то, что ты видишь, ад, куда попадают души заблудших грешников».

Дальше Она добавила, что война, голод и мор посетят мир. Пророчество о войне было запоздалым, так как начатая в 1914-м году она подходила к концу. Здесь появ-

ление Девы приняло политический поворот. «Если сбудутся мои пожелания», заявила Она, «Россия вернется на путь истины и установится мир. Пока же виды на это довольно мрачны, но всё же теплится надежда. В конце концов победит моё Непорочное Сердце. Не говори никому об этом».

От хижины родителей в Альжустер до России дистанция огромного размера. Ещё большая между тем, чем могла жить пылкая голова девятилетней девочки, мир которой ограничивался простыми родителями, приятелями Ясинтой и Франциско, немногими соседями и десятком овец, и тем, что в летние месяца 1917-го года происходило в России.

Для развития политического сценария потребовались новые лица и положения. После убийства короля Карла и его наследника Луи Филипе в феврале 1908-го года, в стране наступило смутное время. За шестнадцать лет республиканского строя произошло шестнадцать революций со сменой восьми президентов и сорока с лишним министров. Тревога и страх — действительные и вымышленные — владели умами людей. Одни боялись резких сдвигов влево, другие — реставрации монархии. В заслон против ещё властного ордена Иезуитов появились массонские и лжемассонские организации. Лиссабонская ложа мистического ордена Великий Восток узрела козни иезуитов в фатимской истории, задуманной с целью низвержения республиканского строя.

В Фатима появился Артуро д'Оливьера Сантос, ревностный администратор из Сантарен со строгим предписанием расследовать дело и навести порядок. Он подверг детей суровому допросу, пугая их смертью, и даже на день или два заточил их в тюрьму. На все вопросы дети отвечали: «Мы не можем ничего сказать». На вопрос, кто им запретил это последовал тот же ответ. Ясинта и Франциско помнили наказ Люсии «хранить тайну. Иначе Святая Дева больше не явится к ним».

13-го октября огромная толпа собралась у места, где уже пять раз появлялось видение. Ясное, с утра беоблачное небо стало оранжевым и закружилось, как одержимое, в поднявшемся смерче. В страхе народ пал на колени, ожидая всё, вплоть до конца света. Затем также неожиданно всё прояснилось и над темной листвой дуба появилось сияние ослепляющей белизны. Дева явилась вновь Люсии и её приятелям и сказала: «Я Та, которой поклоняются в молитвах Богородице. Я хочу, чтобы во имя Моё на этом месте построили часовню...»

* * *

Слава о Фатима распространилась далеко за пределы Португалии. Паломничество приняло все-растущие размеры. Маленьких детей признали как провидцев и слуг Божьих. Преследование республиканского администратора придало им ореол мученичества. Двое из них умерло в течение ближайших двух лет: Франциско Марти в апреле 1919-го года, а Ясинта годом позже в феврале. Их смерть не имела ничего общего с тем, что было придано позже, как милость за небесное благоволение. В стране, как почти по всему миру, свирепствовала эпидемия инфлуэнции, жертвой которой пал и Франциско. Ясинта умерла от плеврита. Люсия попала в школу, а затем в монастырь, приняв имя Марии дос Дорес (сострадание).

Почти всё, написанное о фатимском явлении, основано на четырех неопубликованных мемуарах сестры Марии, в миру Люсии, воспоминаниях ее матери и некоторых лиц; к этому, безусловно, следует добавить и неудержимое воображение — как и расчет — лиц, связанных с подобными явлениями.

Последние годы сестра Мария жила в одном из американских монастырей, где её оберегали от чрезмерной популярности, назойливых посетителей и от неё самой, от её всё ещё неудержимо пылкого воображения.

В одном из редких интервью, данном ею в июле 1946-го года, сестра Мария, всё ещё живя в событиях тридцатилетней давности, призналась, на вопрос о появлении ангела, что не была полностью уверена в этом, так как находилась в необыкновенном состоянии ума. К этому она добавила: «Никто тогда не спрашивал меня. Священник, которому я упоминула об этом, сказал, чтобы я никому не говорила. Я и молчала до тех пор, пока епископ не предложил мне записать всё, что я видела».

Словно считая, что этого было недостаточно для высоких духовных и светских лиц, присутствовавших на интервью, сестра Мария сказала, что Богоматерь вновь посетила её в декабре 1925-го года, когда она была в конвенте, и что дважды она видела Иисуса Христа.

* * *

Явление Святой Девы в Фатима продолжало быть связанным с событиями в России. Некий Монсиньор Харольд Колган, повествуя о себе, сказал, что он узнал о Фатима после окончании войны в 1918-м году. Двумя годами позже, находясь почти при смерти в госпитале, он задумался о значительности всего, что Святая Дева сказала детям. Война закончилась, но пророчествво о росте коммунизма и захвате им других стран сбылось полностью, «так как никто не последовал Её завету о направлении России на праведный путь. Я дал завет», продолжал он, «сделать всё возможное, чтобы все знали о заботах Богоматери об исцеления России».

После своего выздоровления Монсиньор Колган заявил в проповеди, что «если атеисты создали Красную Армию, мы создадим Голубую для выполнения завета, данного Божьей Матерью».

Как же должно состояться новое крещение Руси? Сестра Мария ордена Непорочного Сердца, в миру Люсия, как единственная в живых свидетельница небесного чуда, приняла участие в составлении торжественной клят-

вы, которую должен дать каждый, поступая крестоносцем в Голубую Армию. Первый епископ Фатимы благословил торжественное обещание воинов Голубой Армии служить заветам Богоматери и дал им, как обязательное условие для повторения, особую молитву, впервые услышанную Люсией во время второго посещения Девы.

* * *

С годами лепет детей шести и восьми лет под пылким воображением немного старшей Люсии облекся в красноречивую форму евангельского текста. Ангел-предвестник, появившийся детям весной 1916-го года, заговорил позже много лучше, чем даже отец дон Августин: «Вы можете любым образом приносить жертву Господу Богу как возмещение за грехи, оскорбившие Его, как и мольбу за грешников. Этим вы можете принести мир своей стране, так как я ангел, покровитель Португалии».

Здесь появилась некая табель о рангах: Португалия страна небольшая, довольно ей и ангела. Для России и направления её на праведный путь этого было мало. В явлении 13-го июля Фатимская Дева заявила детям, что если будут выполнены Её пожелания, то Россия исцелится. Если нет, «то она разнесет свои заблуждения по всему свету, принеся новые войны и гонения на церковь...»

Надо ещё раз учесть политическое положение в стране, рост революционных течений, страх, что красная волна захлестнет её. Фатимская история, которая прошла бы незамеченной в другое время, случилась как раз, когда нужно было со всеми данными для религиозного подъема. Чем Лурд лучше Фатима? Маленького Франциско Марти, умершего в девять лет, сопоставили с Франциско Ассизским. В 1969-м году, в пятидесятилетие со дня его смерти всё было готово к причислению его и Ясинты к лику святых. По данным бюллетеня «Фатимские Провидцы» за предыдушее лето только к причастию в базилике пришло миллион с четвертью человек. Свыше трехсот

врачей и сиделок безвозмездно обслуживали больных и немощных, чаявших исцеления и чуда. Малые чудеса совершались. У одного пастуха прошел застарелый ревматизм, когда он приблизился к дубу, месту обычного появления Девы. Другой почувствовал крепость в расслабленных ногах. Сотни других нашли в массовом экстазе духовное и физическое укрепление. Простая надежда на исцеление и духовное очищение осенила их жизнь. Это само по себе уже немалое чудо.

* * *

Ещё раз на площади. После базилики и часовни Фатимской Девы она кажется ещё более огромной и пустынной. Студеный ветер дал волю озорству, наметая на неё песок и мелкий гравий.

Вдали чернело несколько групп паломников. Женщина в траурном одеянии медленно ползла на коленях, поддерживаемая под руку плачущим мальчиком. Чулки её были порваны, через платки, обмотанные вокруг колен, сочилась кровь. За час нашего пребывания в базилике она проползла малое расстояние. Большее ещё было впереди.

Тяжесть греха, как и жажда искупления, не исключается только земной жизнью, где грехи большинства немногим превышают те, в которых признаются в школьных исповедях: немного обманывал, немного лгал, немного блудил или только придавленный тяжестью первородного непослушания питал неудержимую склонность к прелюбодеянию. Что раньше: яйцо или наседка? Что первопричинно? Страх на земле за ответ, какой и почему, который надо дать в другом мире? Или только безропотное послушание, вколоченное в кровь и плоть тысячелетиями жреческого насилия?

Психический сдвиг в младенчестве человечества, получивший закономерное развитие, подобно травматическим ущербам сердца, почек, костей? Или инстинкт

властвования, подкрепленный угрозой за неподчинение не только в земной жизни, но и вне её? Отсюда — грех, могущественное оружие в руках святош на службе власть имущих. Нет другого слова, теснее связанного с человеческой трагедией, начиная с нянькиных угроз о «Боженьке с камушком в руках», вплоть до воплей, посыпания главы пеплом, самобичевания, пыток, костров. Отсюда — невольная жажда искупления, прохождение мытарств, ползание на кровоточащих коленях, ад на земле, кромешный ад, усугубленный бездушием божественных сил, созерцающих души грешников в кипящей смоле и в острых когтях омерзительных чудовищ. И только для своих, для избранных или «знающих ходы и выходы», было создано чистилище, сравнительно терпимое место с пребыванием «до скончания веков», после чего по непостижимому планетарному исчислению времени можно обрести вечное блаженство.

Какой тяжкий грех могла совершить эта вдова, медленно ползущая на разодранных коленях к часовне Фатимской Девы с перекошенным от боли лицом, с глазами, устремленными с отчаянной мольбой на голубую корону Мадонны, не замечая никого вокруг, даже сына, плачущего от жалости к ней? Какой грех? Нелюбовь к мужу, измена ему, медленное сведения его к смерти? Разве мужья умирают только от мышьяка и толченого стекла в пище? От брани сварливых жен? Португальские жены, даже если властны и подчас сварливы, как можно судить по донье Марии, не хуже других. Любовь, спайка, упрощенные своеобразием домашнего уклада, крепко держатся в их домах. Родители чадолюбивы; дети — ангелы и все от Бога. Если в семье только один ребенок, значит так угодно всевышнему промыслу и роптать нечего.

О чем с таким мучительным горением могла просить она Деву? О возрате мужа? Об умалении тяжкого греха прелюбодеяния, если такое и могло случиться? О жаре

неостывающего вдовьего ложа? Мольбы о даровании нового мужа и сладости плотской любви? Мольбы к кому — Непорочной Деве, огражденной святостью от первородного греха и зачавшей Сына не от плоти, а от духа святого?

Думали ли об этом высокие архипастыри, прибывшие с Папой Павлом Шестым на ознаменование пятидесятилетия со дня смерти Франциско Марти, овечьего пастушенка, провидца и слугу Божьего? Исключительное событие привлекло рекордное число паломников на площадь перед базиликой. Вид тысячи женщин, ползавших на коленях, не мог не умилить высоких гостей на платформе, защищенной от ветра и солнца.

* * *

Что же голубело на подобие купола, когда донья Мария подъезжала к Фатима? С площади было видно двух или трехэтажное здание, украшенное лукообразным куполом с золотым крестом. Это оказался Византийский Центр Голубой Армии, созданный для выполнения «условий Фатимской Девы для направления России на путь истины и духовного спасения».

Широкая каменная лестница, ведущая к главному входу в просторную церковь со многими иконами на иконостасе и по стенам. Широкие скамьи для молящихся, одно из немногих отличий униатской церкви от православной. Настоятель церкви и глава Византийского Центра протоиерей Иоанн Шоффат, молодой человек с открытым лицом, хорошо говорящий по-русски с мягким украинским выговором.

Приезд визитеров из Сан Франциско вносит оживление в центре. Цель их приезда не столь побывать в местах Фатимской Божьей Матери, сколько повидать Казанскую Божью Матерь, нашедшую после многих хождений по мукам покойное убежище.

Каким образом попала она заграницу? По всем данным с эмигрантской волной ранних двадцатых годов. Оказалась она в Лондоне, в английских руках, сбытая туда ради куска хлеба или хорошей наживы.

В Сан Франциско привез её Архиепископ Иоанн Шаховской. Сбор добровольных пожертвований (стоимость чуть не пятьдесят тысяч долларов) для приобретения иконы не оправдал надежд. Казанская Божья Матерь продолжала хождение по мукам. Одно время был связан с нею некто Стивенс, делец из Нью Йорка, для кого пшеница на корню, рогатый скот для чикагской скотобойни и прославленная в веках икона представляли одинаково объект для выгодной коммерческой сделки. Затем появился сомнительный господин из Вашингтона, по фамилии Александр, фатоватый старик, щеголявший в юношеских костюмах, неутомимый старатель по русским делам при центральной разведке, известный тем, что во время оккупации Германии, трудясь усердно по своей специальности среди потерянной массы российских беженцев, он оставлял свой автомобиль у дома, где жил, на трамвайных рельсах. Пусть утром немцы терпеливо ждут в переполненном трамвае, пока херр Александр выспится после ночной пьянки.

Господа Стивенсы и Александры — странная компания для высокого духовного лица! — и Казанская Богоматерь в преумноженной скорби, где Ей с Сыном найти достойное убежище!

Оно нашлось в почетном углу униатской церкви Византийского Центра Фатимы, за изящной резбой чугунной решетки, освещенная лампадой, в сверкании драгоценных камней.

Скорбный лик Казанской Богоматери, впитавший за века неисчислимые мольбы, упования, надежды, вмоленный сердцами миллионов людей, видевший слезы стра-

даний и радости, продолжает излучать магнетическое притяжение и в чужом краю, за тридевять земель от своей родины.

Никакого сопоставления между Фатимской Мадонной и Казанской Богоматерью нет и не может быть, как нет и различия в изображении Её, как, например, в Азии, где Она представлена с косыми глазами и фигурой молодой кантонской девушки или изображена в итальянской и фламандской живописи в одеяниях тогдашней моды. Сущность одна и та же. Разница лишь в представлении и в восприятии. И в чем то другом, что заставило донью Марию, обычно занятую земными делами, и дона Эмануеля, вольнодума и «вольтерьянца», почувствовать вдруг неопредолимое притяжение к образу Казанской Богоматери с тем сокровенным чувством восторженного умиления, когда в нахлынувшем экстазе хотя бы «на четверть минуты в сияние» возносится душа.

Ноябрь, 1971
Фатима, Португалия

ПО СЛЕДАМ ЮНОСТИ

КАРАМЕЛЬ ВЗЛЕТНАЯ

Первое знакомство с советской воздушной линией Аэрофлот состоялось на парижском аэродроме Le Bourget, сперва с командиром Ил-63, затем с её другим персоналом. С адмиральским золотом на обшлагах с крупным носом, толстыми губами на белом мясистом лице, он осматривал крылья самолета.

Стюардессы обносят пассажиров блюдами с леденцами, на липкой обложке которых напечатано «карамель взлетная». Стюардессы белокуры, сероглазы, их полноватые лица выглядят, как из квадратной рамки. В отличие от обычно длинноногих стюардесс других воздушных линий, они приземисты и круглотелы, из той породы, про которую сказано: «не ладно скроен, да крепко сшит». И всё же, включая медвежатистого командира, сородича Собакевича, по сравнению с тем, что пришлось видеть изумленному глазу на московском аэродроме Шереметьево, это «карамель взлетная».

Часть самолета занимает группа французов, членов общества «Франко-советская дружба». Во главе его гид и распорядитель «Мёсье Л'Аббе, француз убогий» с полной женой; среди других человек с черной ассирийской бородой, секретарь коммунистической партии Гренобля; мадам Зильберт в пыльнике желтого лака, особа неопределенного возраста — по прытким ногам до голых колен девочка лет 11-ти, по шагреневой коже на лице далеко за сорок. Из группы в 19 человек только двое не французы: рослая женщина с крестьянским лицом, вывезенная немцами из деревни под Псковом на подне-

бользную работу в Германию. Тридцать лет спустя, с полузабытым русским языком и невыученным французским, Галя псковитянка летела на родину повидаться с матерью и братьями. И ещё одно исключение: из семнадцати черных ворон одна белая — белобандит, эмигрант винтажа 1921-го года в поиске следов юности.

Посадка в Ленинграде, проверка паспортов, виз, учет иностранной валюты, задержка с багажем. Примащивание на ступеньках лестницы с радио аппаратом на коленях для оповещения прибытия или отправки самолетов. Окрик сопровождающего для пересадки на другой самолет: «Не снимать! Придется вытащить пленку!»

Наконец, восемь часов после вылета из Парижа, самолет достиг Шереметьево. Внизу яркие ленты огней шоссе, ведущих в Москву и окрестные места. Посадка, радио оповещение, что, приветствуя французских паломников в святую землю, аэродромная прислуга обязуется выгрузить их багаж из недр самолета в рекордное время в час с четвертью.

Отлично, есть время познакомиться, хотя бы глазом, со служащими аэродрома — с женщинами в подавляющем числе, занимающими там командные должности. В отличие от бортовой «карамели взлетной» это «карамель приземленная». Видимо все они, как стюардессы и командир Собакевич-младший, служат основной цели: оставить на пассажире успокаивающее впечатление с солидности и прочности Аэрофлота. Устремленные добротно в ширь, они не так отменны в костяке, как в нагуле жира, в массивном поставе ног и мощности плеч, которым позавидовали бы борцы тяжелого веса.

Нет сомнения, что они служат и другой цели! У каждой письменный стол, телефон, листы графленой бумаги. В этот вечерний час столы пусты и те, кто должен восседать за ними, собрались у стола женщины, судя по невероятным размерам и десятипудовой нагрузке их начальницы, посудачить о том, о чем судачат женщины.

ГОВОРИТ МОСКВА

Полночь, двенадцать часов после вылета из Парижа. Гостиница Центральная, бывшая Астория на Тверской, ныне улице Горького. Чуть не сто лет позади своего времени. Шаткий лифт, трепаные ковры. Надзирательницы на каждом этаже с лицами, как надлежит иметь надзирательницам. Комнаты на семейных и холостых на два, три и больше человек. Для них отведена на каждом этаже уборная на «два куверта». Видимо не обходят таким же устройством и холостых женщин. В комнатах умывальник и по числу жителей полотенца на общем крючке. В правилах, как пользоваться номером, сказано, что из двух полотенец на каждого одно «мохнатое», что при гостинице есть «бюро добрых услуг», готовое на всё ради дорогого гостя, и душ, открытый с 8-ми утра. Стоимость — 6 копеек и 10 копеек за «мохнатое полотенце».

При проверке оказалось, что туда можно попасть и в 7 утра, не платя ничего, но не раньше, так как ночная надзирательница и дежурная горничная спят на сдвинутых диванах у административного пункта. При справке о «бюро добрых услуг» оно оказалось закрытым.

Воскресенье утром. Ключ от комнаты надо оставлять на прилавке надзирательницы. В стороне от неё картина: Пушкин, откинутый назад корпус, рука, простертая в пылу спора. В полуоборот к нему фигура в военном мундире, в позе надменность и пренебрежение.

— Кто это военный?

— Бекендорф. — Надзирательница в помощь недогадливому человеку: — то были времена гонения на поэта.

— Ах, вот как!

Ресторан не при гостинице, а ниже за продуктовым магазином, вход с переулка. Ещё нет девяти. На улице бродит неуверенной походкой несколько фигур, их лица серые, мятые, с тем грустно-блаженным выражением, которое выражает одно: не допито, а достать негде!

— Можно позавтракать, не дожидаясь своей группы?
— Да можно, — с почесыванием затылка, — только вот у Толи яйца ещё не готовы.

В фойе Центральной правят два швейцара в дореволюционных ливреях и фуражках с галунами. Нам троим по возрасту два с четвертью столетия. Мы преисполнены взаимной любви, живой огонек омолаживает наши поблекшие очи, мы веселы и по-детски жизнерадостны. Старший швейцар — живая история старой Москвы. Он пританцевывает и припевает: «По Тверской, по Ямской, с колокольчиками», и кидает рукой в сторону улицы — «Какая это улица Горького!» «Страстной монастырь?» «Давно снесли». «А Пушкин там?» «Там то там, но повернули лицом в другую сторону». «А что здесь было раньше?» «Астория, лучшая гостиница того времени, де-люкс. Всё это было Филиппова. И кафе рядом с знаменитыми пирожками и ресторан за углом, всё его». «И пирожки есть до сих пор?» «Ну, ещё бы! Да какие! Только это место закрыто». «Отчего же так?» «Закрыто на время ремонта».

С этим словом «закрыто» знакомишься сразу: на дверях ресторанов, кафе, совсем недостаточных для города величиной с Москву, магазинов смотрят на желающего войти эти частые вывески: «закрыто на обеденный перерыв», «закрыто на санитарный час или день», «закрыто — выходной день», «закрыто для учета», «закрыто для ремонта» и просто «закрыто» без лишнего объяснения.

Так говорит Москва.

Говорит она и словами шофера туристического автобуса на улице Горького: «Видите, какие у нас достижения! Вот вам улица, гоняй сколь хошь, ни тебе не мешают, ни ты никому не мешаешь! Не то, что у вас там в Нью Йорке или Токио, где пешком скорее можно дойти, чем на машине!»

Наивный ты человек, если не сказать больше! Привести пример для сравнения: в Аликанте, в моем маленьком приморском городке на Белом Побережьи Испании частных автомобилей раз в пятнадцать больше, чем в Москве, хотя население его в столько же раз меньше московского.

* * *

Кремль в заборах, перестилают Красную площадь для новых моделей тяжелых танков и ракет к ноябрьскому параду. Милиционеры — две-три звезды на погонах, лейтенанты — направляют толпы туристов от заборов. Некоторые из них руководят уличным движением, белые перчатки, короткий жезл в руке, под кителем очертание револьвера в плоской кобуре. Шпиков на улице не видно, но вероятно только невооруженному глазу новичка.

— До чего же я люблю Кремль! — восклицает Регина, молодая красивая женщина, гид Интуриста, ведя на поводу туристическое стадо. «До чего же я люблю Кремль», отражает эхо от величественных стен соборов Успения, Благовещения, Архангелов, Двенадцати Апостолов.

Десятки тысяч людей на площади проделывают необходимый для туристов ритуал: толпятся у входов в соборы, глазеют на иконы, жмурятся от света люстр, лапают серебро подсвечников; вернувшись на площадь они формируются в группы с неизменным старичком, присевшим на корточки на первом плане у фотографа для увековечения исторического события.

На десятках языков говорит Москва на площади: кавказцы, румыны, узбеки, восточные немцы, поляки, японцы с коммунистическими флажками на рубашках, паломники в святую советскую землю.

Говорит Москва золотыми, синими, резными главами церквей, бойницами кремлевских стен, дворцами — непревзойденным величием прежней России.

Говорит Москва и тяжелыми мётлами в руках женщин, убирающих ныне улицы.

Говорит Москва и с крыш своих зданий саженными буквами: «Да здравствует коммунизм!» «Путь Ленина — электрификация плюс фальсификация!» «Коммунизм счастье советского народа!» «Пусть живет родная коммунистическая партия!» Ну, и пусть живет, только пусть не коверкает жизнь человека!

* * *

Утро, понедельник. Опять Кремль. Сероватое небо, не по августовски прохладно. Толпы молодых и пожилых женщин в забрызганной краской одежде, с ведрами в руках и длинными шестами щеток на плечах, идут на ремонт кремлевских зданий, штукатурку и покраску домов. Они свешиваются над барьерами лесов на пяти и шестиэтажных зданиях, чтобы поймать тросс лебедки с подвешенным грузом. Саженные буквы на крышу: «Спасибо родной партии за трудовое счастье?»

* * *

Ресторан гостиницы Центральная. Обед. Два стола для французской группы. Два молодых человека обслуживающих.

— Так ложат локти, что некуда ставить посуду.

— Французы, — тянет другой. Мог бы добавить: «что от них ждать».

— Так это видно.

Француз бородач, партийный секретарь, наваливает на тарелку матери ломти хлеба и тянет с другого конца стола масло. У беззубой старухи набит рот, но она что то ещё требует. Все тянутся через стол, а если не могут достать, поднимаются во весь рост и хватают, что нужно, с другого конца. Куски хлеба и сахара передают друг другу руками. Один из них никогда не выпускает сигарету из рта и сейчас она мокрая от супа. Спор из-за десяти копеек, недоплаченных кем-то за вино. На ассирийской бороде секретаря сохнет лапша.

Красавица обслуживающая, крупная, тяжелая, но с легкой походкой, на вид боярыня, несет на подносе стаканы чая.

— Чай надо пить по-московски, так, чтобы пар пёр из ушей.

Идя за другими стаканами, она задерживается у бака с посудой, громко сморкается пальцами, обтирая их о передник.

— Как я говорю, чай надо пить так, чтобы...

За соседним столом два посетителя. В ресторане обедают главным образом туристы, живущие в гостинице Центральная; у входа швейцар остро приглядывается: «кого пущать, кого не пущать». Но эти двое, судя по закуске, водке и заказанному обеду, видимо власть имущие. Оба заметно подвыпившие. Один из них не без игривости:

— Ты почему, Надя, ему дала, а мне нет?

— Чёй-то?

— Соуса.

— Говорит Московское Радио. Восемь часов вечера. Прослушайте ассигнованный вам час...

ДВА ДИАЛОГА О ГОГОЛЕ

Угол Горького и Тверского бульвара у Пушкинской площади перед спуском вниз для подземного перехода через улицу. Пожилой господин ни то в пальто, ни то в плаще, со старомодным пенснэ на носу и тростью в руках.

— Скажите, пожалуйста, как мне пройти к памятнику Гоголя?

Господин прищуривается, остро вглядывается в лицо спросившего, переносит трость из одной руки в другую, чтобы прочнее опереться на неё, сверкает стеклами пенснэ, нацеливается ещё раз.

— А позвольте полюбопытствовать, почему вам именно нужно к памятнику Гоголя?

Ответов может быть несколько. По слухам там только что открылся продуктовый магазин со свежей красной икрой не на валюту, а рубли, поэтому все, кто пронюхал об этом, спешат туда. Можно сказать, что последний раз, когда был у памятника Гоголя, то обронил бумажник и хочется посмотреть, не подобрал ли кто его. Когда же это было? 57 лет тому назад! Совсем глупо! Или сказать, что неподалеку на Арбате жила в то время белокурая синеглазая девушка и просто интересно проверить, не дрогнет ли сердце при виде знакомого дома. Но причем тут Гоголь!

— Так что же именно? — Господин ждет, наклоняясь вперед ещё больше, горя нетерпением.

— Просто хочу ориентироваться по памятнику. Ну, и взглянуть на учителя.

— Учителя, — протягивает господин ни то с изумлением, ни то с иронией. Ещё спросит, сидел ли у него в классе за партой, недаром так пытливо рассматривает лицо, седые волосы. — И ориентироваться?

— Да, да, Арбат, Никитские Ворота!

Как сказать ему, что хочется выйти на бывшую Знаменку, ныне улицу Фрунзе, где в строгом классическом ампире стояло Александровское Военное Училище... Январь 1917-го года... Первый выход в отпуск. Воскресное утро. Морозец. Деревья в инее, снег на крышах, карнизах, перилах... Грозный окрик с противоположной стороны улицы: «Юнкера, во-фронт!» Начальник училища, генерал-лейтенант Геништа...

— Так вы, вероятно, нездешний?

— Нет.

— Позвольте задать ещё один вопрос. Откуда?

Меняется свет уличного сигнала. Можно кинуться на другую сторону. — Извините, сигнал...

На полдороге, оглянувшись, была ещё видна фигура любопытного человека, успевшего описать 180 градусов вокруг своей трости.

Улица Герцена и Суворовский бульвар. Лучше спросить одну из встречных женщин. Если и любопытны, то без той проницательности, что у Пушкинской площади.

— Скажите, пожалуйста, как мне пройти к памятнику Гоголя?

— А вам к какому, сидячему или стоячему?

— Я помню только один, как вы говорите — сидячий.

— Давно нет, сняли. Но если хотите взглянуть на него, то вот пройдитесь по Суворовскому бульвару, не доходя Арбата, там в одной из улочек сверните направо и тут за забором и найдете сидячего Гоголя.

— А что же на его месте?

— А стоячий! Во весь рост. Но тот же длинный нос, длинные волосы.

— Ах, вот как! Тогда всё хорошо. Благодарю вас.

ОСТАНКИНО

Вечор поздно из лесочка
Я коров домой гнала.
Слышу-вижу едет барин.
Две собачки впереди,
Два лакея позади.
Чуть со мной он поравнялся
Бросил взгляд свой на меня.
Ты скажи, моя красотка,
Из какого ты села?
Вашей милости крестьянка,
Отвечала ему я...

Боже, как память сохранила эти слова и напев, слышанные в отдаленном детстве!

Если такая встреча произошла в действительности, она произвела немалое чудо в жизни крестьянской девушки в имении графа Шереметьего под Москвой.

Останкино, усадьба, восстановленная так, какой она была сто с лишним лет тому назад. Крепостной театр графов Шереметьевых. Сцена, зал, ложи, балкон, место для оркестра. Замечательный паркет, крылья лестниц, люстры, лепной потолок.

Внизу в картинной галерее притягивают внимание два портрета — как две маркизы из королевского дворца — красивых женщин, с пышными прическами, обнаженными плечами, в платьях, украшенных драгоценностями.

Первый портрет П. И. Жемчуговой по сцене, дочери кузнеца Ковалева, крепостного графа Шереметьева. Она была лучшей оперной певицей его театра, которой посвящено стихотворение, переложенное на музыку, «Вечор поздно из лесочка». Её успех в театре был ошеломляющий, о ней говорила вся барская Москва. В 1801 году граф Шереметьев женился на ней. В 1803 году она умерла от горловой чахотки.

Второй портрет Т. В. Гранатовой, урожденной крепостной Шлыковой, лучшей балерины и драматической актрисы шереметьевского театра. Она умерла в 1863 году на девяностом году жизни.

ИСКУШЕНИЕ

— Так вы не хотите с нами по ленинским местам? Что же вы будете делать?

— Я хочу посмотреть Третьяковскую галерею.

— Когда будете покупать билет, — говорит, смущаясь, гид Интуриста, — прикиньтесь, что вы не говорите по-русски. Тогда сразу, не дожидаясь...

...Девушка перед картиной Крамского «Христос в пустыне». Неподвижная поза, голова устремленная вперед, завороженные глаза...

Толпа, снующая взад и вперед. Гул голосов, шорканье подошв по паркету.

У картины Сурикова «Боярыня Морозова» знаток искусства и истории говорит сынку: «Злая была помещица, притесняла крепостных. Пройдем дальше». Перед репинской картиной «Иоанн Грозный с сыном» молодая женщина жмется к плечу мужа: «У-у, какие глаза страшенные! Того и гляди, зарежет. Пойдем, Вася!»

Вновь у Крамского получасом позже. Та же девушка, та же поза, красный плюш скамьи, тот же завороженный взгляд. О чем думала эта советская девушка, приближенная в своей сосредоточенности настолько, что, казалось, сама сидела у ног Христа на сером песке в зеленоватом рассвете тревожного утра, смятенная духом или вознесенная до небес от одного прикосновения к великой тайне?

Читала ли она в Евангелии об Иисусе, «возведенном Духом в пустыню для искушения от дьявола?» Думала ли она, как миллионы других русских девушек в чистоте своего девичества, о «хлебах земных» и «хлебах небесных», о «страшном и умном духе, духе самоуничтожения и небытия», искушавшем Христа обратить камни нагой и раскаленной пустыни в хлебы, чтобы человечество только ради этого пошло бы за Ним. Но не «хлебом единым», не силой и славой победишь мир... Видел ли Христос в тот предрассветный час, что через три с небольшим года будет предан своим? Думала ли эта дувушка о страшном грехе предательства, о тягчайшем преступлении, повторившемся неисчислимым числом раз на советской земле и воспетом добродетелью, когда друг предает друга, а сын отца.

МУЗЕЙ ЛЕНИНА

Из-за ремонта Красной площади для ноябрьского парада усыпальница с мощами в лоне почившего Ленина была закрыта, поэтому обязательное поклонение паломников было перенесено в музей его имени.

Серое утро, чуть дождит. К девяти часам утра стекаются автобусы Интуристов с полчищами паломников. Расторопные гиды проводят их быстро мимо длинных линий местных жителей — своя кобылка должна понимать, стоять безропотно «с чистой совестью», и ждать по воловьи, пока администрации не заблагорассудится открыть и им двери в святое хранилище выцветших фото-

графий и писем, картин, бюстов, костюмов человека от его зачатия до кончины.

Гренобльский секретарь бородач преисполнен благоговейного чувства. Умиленный до слез, он готов приложиться к фиолетовому дагерротипу, изображающему в ботичеллевом осиянии младенца Ильича на руках матери. Жена старосты копирует детский почерк письма того же Ильича, но в гимназической форме, чтобы у себя дома, в Гренобле, с помощью словаря впитать ещё одну человеческую премудрость.

Над толпой царит благочестивое смирение. Кажется, что под куполом веет белый голубь, а с хор грянет ликующее «Осанна...!»

Хитрое скуластое лицо. На лысой голове парик с челкой, как у рабочего, блуза мастерового. Напротив в стеклянном футляре красуются брюки, рыжеватое пальто — реликвии особого поклонения, в которых загримированный Ленин прятался от властей Временного правительства летом 1917-го года.

— Какой великий человек, — восклицает гид. — Какой ум! Вот кого надо читать и перечитывать! Что он говорит: нельзя строить новый мир в разрыве от старого.

Помните, Регина, ещё одну назидательную мысль, изреченную им — в каком это томе? — что летом обычно бывает жарко, а зимой холодно?

* * *

Группа в три человека: молодой начетчик, пожилой господин, средних лет женщина. По всей видимости, экзамен на политическую грамотность или на псевдонаучный диплом.

Упитанный, щеголевато одетый начетчик — по виду неплохо вкушающий от партийных благ — бойко выкладывает: «...и на пленарном заседании товарищ Ленин выдвинул...» и время от времени указывает кием в руке на соответствующее место на изречении, повешенном на стену под стеклом.

Профессор качается на каблуках и сдерживает зевоту. Профессорша наклонилась над витриной с ленинскими экспонатами и с интересом следит за попыткой мелкого насекомого выбраться оттуда.

— Скучно, товарищи! Дайте что-нибудь свеженькое! Как, например, обстоит дело с дачкой министра культуры Фурцевой? Уже окропили углы строительства? Что вы говорите — уже выводят крышу! Ну, это поздравительно! Когда же намечается освящение и банкет по случаю въезда? Между прочим, ради любопытства, в какую копеечку обошлась построечка? В 70 тысяч рублей! О-хо-хо! Это что же, всё из министерского оклада в 700 рублей в месяц? Культурно, ничего не скажешь!

* * *

После посещения музея, уже на чистом воздухе.

— Ну, как там у вас? — Вопрос явно с политической подоплекой.

— О, хорошо! Лучезарное солнце, тепло Средиземного моря, изобилие фруктов, овощей, вина. Испанский народ веселый, жизнерадостный!

Темный ты человек, качают сокрушенно головами. Как может быть хорошо, если Ленин своей знаменитой красной свечей, извлеченной по народному выражению из одного места, не возжег там пламя народного счастья!

СОВЕТСКИЕ САТЕЛЛИТЫ

С каждым днем пребывания в Латвии и Эстонии крепнет впечатление, что эти обе страны намного впереди Московской Руси. Впечатление внешнее, но вряд ли ошибочное. Судить об этом можно по гостиницам, обслуживанию, ресторанам, уличной толпе, её одежде, по чуть уловимому, но так же безошибочному чувству самостоятельности, уверенности в себе и гордости. Прежде всего он латыш или эстонец, а затем уже, хочешь, не хочешь, советский гражданин.

Но руссификация идет своим ходом. Русское население Риги и Таллина растет и нет сомнения в том, что оно занимает ответственные посты в политической и экономической жизни советских сателлитов.

— Чтобы не было обидно, — говорит гид Интуриста, — мы не говорим, что русский язык — язык государственный, а говорим, что он только для межсоюзных сношений.

Спросите латыша или эстонца и он ответит на правильном русском языке. Только у пожилых можно услышать акцент и неправильную речь.

Отель Даубау на левой стороне Двины, против центральной части города. Комната для одного, своя ванная — нежданный сюрприз после гостиницы в Москве с комнатой на трех и отхожим на отлете; огромное окно, вид на реку, мост, гранитную набережную, средневековые здания города. Отличная мебель белой березы; начинает казаться, что это Стокгольм, широкий, комфортабельный мир запада, не пришибленный выхолощенной догмой советчины, пока не натыкаешься на бодрый призыв на стене:«Выполнить 1974 года план по сдаче койко-мест. Сэкономить путем выявления внутренних резервов на одной койке-сутке 0.01 коп.»

В ГОСТЯХ У ПИОНЕРОВ

Рижское взморье, белый песок на пляже в десятки миль. Сосновый бор. Фешенебельный ресторан с верандой над морем. Свежий ветер. Запах моря и сосны.

Длинная дорога вдоль моря. Дачки в сосновом бору, маленькие селения. Чистота и добротность, занавеси на окнах, цветы на подоконниках, в садах перед домами, праздничное настроение.

— Кажется приехали, — говорит Регина водителю интуристического автобуса. Впереди, справа у дороги три детских фигуры с флажками, в коротких штанах и белых рубашках с красными галстуками.

Автобус съезжает на песчаную дорогу до группы летних домов. У въезда к главному зданию стоят в две шеренги дети, пионеры лагеря, с цветами в руках, встречая дорогих гостей из Франции. На площади перед памятником патрона лагеря высится платформа, украшенная начальством и высокими гостями. Перед нею на трех сторонах площади выстроены по-военному пионеры мальчики и девочки в возрасте от восьми до шестнадцати лет. По очереди от каждого построения отделяется пионер, мальчик или девочка, прижимая к себе древко флажка, подходит к платформе, отдает честь начальнице и докладывает:

— Начальник такого-то отдела пионерского отряда имени Константина Сергеевича Заслонова докладывает, что...

Имя инженера, погибшего партизаном в войне, трудно произносится, но игра в потешные требует военного устава. После каждого доклада три мальчугана-горниста поднимают трубы, потрясая небеса фальшивой медью. Сияя от выпавшего счастья и млея от восторга, начальница лагеря приветствует французских гостей: «...и вы, совершив такой подвиг, приехав к нам из далекой Франции...» Гости, совершившие подвиг, плотно позавтракали на рижском побережьи и засиделись дольше за столом, чем надо, так что подвиг совершили дети, стоя в военном строю лишних полтора часа.

Начальница пионерского лагеря по клеймёному советскому облику могла быть и начальницей концлагеря — голое жесткое лицо со следами собачьей старости, самодовольная, самоуверенная улыбка партийной кликуши, непременного члена-«оратеня» партийных сборищ, требующих по приказу сверху казни то Пастернака, то знаменитых московских врачей, то кого-либо ещё по произволу советской власти. После докладов пионеров-солдатиков за чаем начальница трещала для назидательной радости гостей, что её к обоюдному удовлетворению

породила партия в заботах о всечеловеческом счастье, и только за это одно — не говоря уже о том, что ей доверили такое ответственное дело, как стать инженером конструктором детских душ — она готова отдать жизнь за родную партию.

Была представлена самодеятельность пионеров, хоровое пение на сцене, танцы, сольные выступления. Всё хорошо, живо, в некоторых случаях даже исключительно хорошо. Успех этого предприятия в воспитании детей следует отнести не к начальнице-кликуше («боа-констриктор», судя по отношению к разыгравшимся детям: «Немедленно по местам и закрыть рты! У нас ничего не делается без разрешения»!), а скорее к двум учительницам музыки и танцев, по виду из «бывших».

Главный номер был впереди: награждение красным пионерским галстуком волосатой шеи гренобльского секретаря. В восторженной речи начальница заговорила о том, что не каждая шея достойна такой высокой чести, что наличие красного галстука на ней не только украшает человека, но и наделяет его такими отменными качествами, которым завидует весь мир «и даже больше».

Пока начальница «растекалась по древу» и копалась под секретарской бородой, завязывая галстук, секретарская мамаша, ошеломленная от счастья, пробиралась сквозь толпу к сынку бородачу. «Сподобился», ликовал её рот, лязгали вставные челюсти, а сам счастливый избранник судьбы, наливаясь в лице кровью цвета переспелого карбункула, готов был разразиться истошным воплем: «Мама, отдай меня в пионеры»!

* * *

Рига некогда была кипучим издательским центром эмиграции. Влиятельная газета *Сегодня*, ряд писателей, ещё не перебравшихся в Берлин или Париж. Плодовитый Петр Пильский, он же П. Трубников и десятки других псевдонимов. Пиратские издания Эдгара Уоллеса

и сыщиков многих стран, Брешко-Брешковского и других корифеев бульварной литературы. Толстая газетная бумага, неряшливая печать, зато заглавия! «Кровавые бриллианты», «Дым и кровь», «Хитрый бархатный человек», «Оккультизм для новобрачных» и так вплоть до горничного чтения: «Суматоха в прохожей или жених в западне».

Теперь Рига осела, выпускает электрические двигатели, радио Спидола, шоколад Лаима, консервы. У рынка вблизи моста через Двину, заваленного изобилием продуктов, снятых с частных приусадебных участков и выложенных на лотки с умением и старанием заботливых собственников, высится ряд амбаров и складов, добротно построенных ещё во времена ганзейской торговли.

* * *

Таллин, как осторожный купец, обнес себя надежной охраной от всевозможных поползновений со стороны алчных соседей: массивные стены и башни серого гранита опоясывают Вышгород, величественное возвышение, спускаясь к порту. У подножья Вышгорода статные деревья с серебристой зеленью отражаются в воде крепостных рвов. Просторные парки, чистота, порядок, памятники, беседки, скамьи, всё прочно, добротно, построено на века.

Эстонцы пожалуй один из самых красивейших народов мира: рослые, в меру полные, белолицые с задорным румянцем, белокурые, синеглазые, с приветливыми улыбками и учтивыми манерами. Кого ещё искать лучше! Особенно женщины и дети. Красивее не найти нигде!

* * *

Воскресенье, служба в соборе Александра Невского. Молящихся больше, чем в соборе того же имени на rue Daru, как можно было убедиться в следующее воскресенье в Париже.

На стенах мраморные доски гласят золотыми буквами: «Построен в 1895-1900 годах. Открыт Великим Князем Владимиром Кирилловичем и его сыном, Великим Князем Кириллом Владимировичем». На других мраморных досках помещены имена ревельских моряков, погибших в Цусимском бою.

Никаких следов насилия, расхищений, разрушения. Вероятно потому, что великодержавная Москва захватила прибалтийские страны в 1940 году, много лет спустя после разгула разнузданной российской черни в церквах и монастырях в революционные годы. Но главное, конечно, в том, что народы Прибалтики — народы дисциплины и порядка.

Рядом с собором стоит древняя Домская церковь, белый усеченный конус, частью покрыта лесами для реставрации. Внизу, ближе к порту, находится церковь Оливесте 13-14 столетия. На двери извещение: «Служба бапбистов и евангелистов» по таким то часам. Неподалеку стоит такой же старинный костел.

ПО ПУТИ В ЛЕНИНГРАД

Ночной поезд Таллин-Ленинград, почти целиком состоящий из четырехместных спальных купэ. Широкие окна, нержавеющая сталь, хорошая обшивка стен.

На верхних полках навалены свернутые матрасы, подушки в сероватых чехлах, простыни, нуждающие утюга, хорошие шерстяные одеяла. Пассажиры должны сами развертывать матрасы, надевать наволочки, стлать свои постели.

Ночью в купэ душно, до вентиляции не добраться. Вероятно, это один из новейших поездов в Советском Союзе, но какая разница между ним и Тальго, испанским поездом на ночном пробеге Барселона-Париж!

Услужливая проводница, крепко сбитая, круглолицая, с белокурой косой, подоткнутой под железнодорожную шапочку, быстрая, как ртуть, появляется в одно время в

разных местах, разнося перед сном чай в подстаканниках.

В уборной хорошие дверные ручки из белой стали, но замки не работают. При приближению к этому почтенному месту слышится то испуганный писк, го грозный рев: «не ломиться, занято!» Вечером там не было воды, утром не было бумаги.

В купэ душно. В коридоре белый свет скрытых ламп. Далеко до рассвета. Ночью вероятно дождило. Сероватый лесок, в отсвете вагонных окон сверкают лужи. Темные стога сена, стелящийся туман, редкие будки сторожих у перекрестных дорог с фонарями в руках. а позже к рассвету со свернутыми желтыми флажками.

Брезжит. Кое-где показываются спящие дома; старые на вид, они кажутся добротными, с пристройками, садами, цветами... Стаи мокрых ворон на навозе... И опять серые поля, мокрые ели, белеющие стволы берез, клочья тумана... Невольная грусть... Так вот ты моя земля, невиденная, но незабытая в тревожной памяти пол с лишним столетия!

Первая станция на рассвете Войсковицы. Встречает поезд начальница станции, как полагается, в красной фуражке. На платформе женщины работницы толкают тележку с багажем. Чаще пробегают селения, большие жилые дома, с зарослями телевизорных антен на крышах... Гатчина товарная... Гатчина, куда из Парижа вернулся полуслепой, забытый в эмиграции Куприн (последняя его книга разошлась в количестве 80 экз. среди русского населения Парижа в 80 тысяч) в ту-же квартиру, в которой жил в разгар славы в годы до Первой Мировой войны и из которой в сороковых годах его увезли умирать в ленинградский госпиталь... Тательниково. Новое Музино. Старое Музино. Верево. Александровское. Предпортовая. Аэропортная. Проспект Героев. Броневая. Корпусное шоссе и, наконец, Ленинград, Балтийский вокзал, каким он был сто с лишним лет назад.

БЛУЖДАЯ ПО ГОРОДУ

Московская гостиница у Лиговского проспекта против Московского вокзала, тут же Невский проспект. В боковой улице женшины в ярких желтых куртках асфальтируют мостовую. Фонтанка, мост, на четырех углах красуются бронзовые кони барона Клодта. Здание малинового цвета, некогда дворец князей Белосельских-Белозерских, ныне Куйбышевский Районный Комитет. За мостом серовато-желтый дворец с белыми ионическими колоннами. Пометка на мраморной доске: «1885 г., Кваренги»... Гостиный Двор. Мойка. Литейный. Инженерная набережная. Зимняя канавка. Васильевский остров... Быть может в одном из этих барских домов на бывшей Большой Морской, в квартире княгини Бетси Тверской Вронский встречался с Анной Карениной... Выборгская сторона. Охта. Исакиевская площадь... Вот здесь цирюльник Иван Яковлевич старался сбросить с Исакиевского моста в Неву нос кавказской службы майора Ковалева, но квартальный надзиратель вовремя остановил его... Вот у Сенной площади из одного из темных дворов со множеством квартир, глядевших на мусорную яму, вышел Раскольников для страшного дела...

И опять Невский проспект, толпа, уличное движение. Казанский собор, набежавшие строки Огнивцева:

Букет от Эйлерса! Вы слышите мотив
Двух этих слов, увы, так отзвеневших скоро...
Букет от Эйлерса, того, что супротив
Многоколонного Казанского собора.

Серо-желтые тона. Памятники Кутузова-Смоленского и Барклай де Толли по концам колонных крыльев. Редкие старики и голуби. Ещё реже дети — советская особенность, где их не только не слышно, но и не видно в общественных местах. На некоторых колоннах следы вделанного мрамора, память об осаде Ленинграда немцами. На фронтоне собора надпись «Музей Истории Религии и Атеизма».

Зимний дворец, одно из прекраснейших зданий мира, гордость Растрелли. Светло-зеленые тона, белые колонны. Ныне продолжение Эрмитажа... Огромная Дворцовая площадь с Александровской колонной красно-бурого цвета с темно-серой фигурой наверху. Полукруглое здание желтого цвета с Триумфальной аркой и конной группой наверху.

Марсово поле и Летний сад, воспетый Георгием Ивановым:

И опять в романтическом Летнем саду,
В голубой белизне петербургского мая,
По пустынным аллеям неслышно пройду,
Драгоценные плечи твои обнимая.

Что-то белое маячит впереди. Монашка в белом облачении? Откуда ей быть здесь! Автомобиль, разукрашенный цветами, несколько фигур, одна в белом, а подвенечное платье! В белом и другая, но в более скромном, её подруга, чтобы избежать старорежимного слова шаферица. Жених озабочен: приехал не с той стороны, надо объезжать, так как напротив у Марсового поля ждет другой автомобиль, также в цветах, с другой невестой в белом платье и женихом... В «голубой белизне» небо, атласные облачка, белеет мрамор сквозь августовскую листву Летнего сада... Необыкновенный предосенний день! Белый свет отраженного счастья!

КОМНАТЫ НАШЕГО ЭМИГРАНТА

Инженерная набережная. Михайловский дворец, построенный в 1819-1825 годах архитектором К. И. Росси. Ныне Русский музей, галерея русской живописи.

На вопрос, как пройти к художникам конца прошлого и начала этого века, женщина привратница ответила: «А вот вы скоренько проходьте через комнаты с иконами и древней живописью, а начиная с комнаты сороковой вы выйдете к ним и так вплоть до последних двух комнат нашего эмигранта».

— Эмигранта?

— Как же, да ещё какого! — сказано с большой гордостью.

Какой-же эмигрант в ленинградском музее оставалось проверить самому.

Первые комнаты икон, собранных из закрытых храмов и монастырей, включая работы Андрея Рублева. Несколько комнат дальше заняты художниками 18 и 19 веков: Лосенко, Левицкий, Боровиковский, Бруни (знаменитый «Медный змей»), Брюллов. Более позднего времени: Семирамидский, Айвазовский, Кипренский, Шишкин, Маковский, Верещагин («Скобелев под Шипкой»), Куинджи, Поленов. Целая комната отведена Репину, его огромному полотну «Заседание Государственного Совета» с десятком подготовительных макетов отдельных государственных деятелей того времени.

Ещё несколько комнат: Васнецов, Суриков, Левитан, Коровин, Серов, Врубель, Нестеров. И, наконец, две последних комнаты «нашего эмигранта» С. А. Сорина, с замечательными по мастерству портретами, выполненными «смешанной техникой» — пастелью, гуашем и акварелью на бумаге, приготовленной особым способом. Об этом с живостью и знанием рассказывает женщина-страж. «Наш эмигрант» звучит с подчеркнутым выражением. Гордость? Радость по поводу возвращения «блудного сына»?

— Можно сфотографировать?

— Сколько хотите.

Среди работ Сорина представлены портреты графини Орловой, Михаила Фокина (1926), балерины Бароновой (1937). Большинство работ представлено в полный рост. И один, до этого невиденный: смуглое лицо, карие глаза, скуфейка, черная монашеская ряса, сложенные пальцы, озаглавленный «Портрет мужчины» (1950). Портрет архиепископа Иоанна Шаховского.

* * *

СОВЕТСКИЕ ВЫВЕСКИ

Ломка во всем: в распорядке дня (неизменно «закрыто»), в наименовании улиц, в быту, в развлечениях. Но всё ещё прочно цепляются за свои гражданские права такие пережитки проклятого прошлого, как выношенная до корешка щетка для бритья в парикмахерских и газетная бумага на ржавом гвозде в отхожих местах.

Ломка в вывесках. Исчезли Филипповы, Елисеевы с сыновьями, Братья Чистяковы, Пахомов французский портной, тот же Эйлерс и т. п. Появились взамен новые, среди которых слово «пункт» приобрело особый почет: «Глазной травматологический пункт», «Пункт технопомощи», «Обменный пункт» (обмен иностранной валюты на рубли), «Пункт выдачи белья из стирки», «Режим работы пунктов», «Пункт бронирования мест на самолеты», «Пуско-наладочный пункт», «Пункт ремонта квартир» (неряшливый вход в помещение по примеру «сапожник без сапог»). Включить и Зощенко с его «обмывательным пунктом» в госпитале.

Другие вывески: «Пышечная», «Чебуреки», «Котлеты», «Рюмочная», «Копчености», «Духи Напевы», «Ремонт кожновещей», «Кафе Улыбка», «Институт усовершенствования следственных работников», «Торт Сюрприз», «Закусочная», «Кафе Лакомка — чашка кофе снимает усталость и поднимает настроение» (закрыто по случаю санитарного часа — подняло усталость и снизило настроение).

ДВА ВАРИАНТА

Угол Садовой и Невского проспекта. Два господина, видимо из власть имущих, но не из того класса, которые передвигаются в черных Чайках. Оживленный разговор, судя по игривости передачи не о диалектическом материализме и преимуществах советского строя. В уличном движении то слышны, то глохнут их голоса.

Упоминается деловая командировка, тесно связанная с давно заслуженным отдыхом. Забронированный удачно номерок на черноморском побережье, календарное согласование с появлением полной луны, балкон с пышными георгинами, шампанское, фрукты... Ночь в Крыму, всё в дыму, ничего не видно...

Рассказчик захлебывается, подходя к ключевому месту: всё готово, песочные часы не отстают для появления ненаглядного цыпленка. Вот-вот задребезжит звонок у двери, балетный бросок на грудь — Вова, наконец-то я твоя!

— Так и вышло?

— Вышел к огорчению второй вариант...

— Жена приехала?

— С вечерним поездом, с чемоданами, бурными ласками... «Дорогой Вовочка, спасибо за цветы, за шампанское! Ну, как это мило!.. Какой ты у меня хороший!»

Сигнал для перехода улицы. Два собеседника ринулись на мостовую. В их игривом хохоте глох уличный шум.

Фешенебельная гостиница Европейская на ул. Бродского, неподалеку от Невского проспекта.

— Вы мне показали обменный пункт, где можно разменять валюту. Будьте добры теперь указать, где у вас здесь пивной пункт.

Швейцар, ласковый услужливый человек, задумывается на момент. — Такого в сущности нет. — Затем, сразу оживившись: — Это вы насчет пивка попить? А, сколько угодно! Вот подниметесь по лестнице в ресторан, прямо между пальмами.

Ресторан пустой. Обслуживающие сидят за грязными столами. Перед входом надпись: «Обеденный перерыв между 2 и 4 часами». Сейчас 5.

— Можно достать пива?

— Сейчас перерыв.

— Обеденный?

— Нет, со столов ещё не убрано.

Опять у благодетеля швейцара. — Закрыто? Ах, вот как! — Он впадает в краткое раздумье, но тотчас оживает. — Есть второй вариант: вы подниметесь на лифте до пятого этажа, там направо вам и дадут.

На пятом этаже. « Можно у вас достать пива?» «А вот пройдите сюда». Неужели второй вариант работает? «Но здесь надпись ‹вход запрещен›» «Не обращайте внимания, это так». «А где можно присесть?» «А вот на приступочке».

Бутылка пива и стакан дрожат на ребрах радиатора отопления, вот-вот грохнутся, такой урон народному хозяйству!

* * *

У хорошего еврея на все есть второй выход. У ленинградца в ходу второй вариант. Но нет правил без исключения.

Часом позже, блуждая у Михайловского сада.

— Скажите, пожалуйста, как мне выйти к Невскому?

— А вот налево, дойдете до цирка, там направо и прямо выйдете на Невский, у коней на Фонтанке.

— А есть второй вариант?

— В этом случае нет, — говорит он смущенно. — Что нет, то нет. Не взыщете!

ГОСТИНИЦА МОСКОВСКАЯ

Справедливость требует отметить, что, как Центральная гостиница в Москве, так и Московская гостиница в Ленинграде некогда поражали новшеством и элегантностью. Но это было чуть не век назад. Теперь они одряхлели, а казенный режим отельной администрации совершенно пришиб их. Всё сделано так, что после трех дней рвешься вырваться из них. Темные стены, кривоногие умывальники, инструкции и правила для жильцов.

«Смена постельного белья по необходимости, но не реже раза в неделю». Необходимости видимо не было, но впечатление такое, что оно не менялось месяца два. В конце коридора, одна на это крыло, уборная, доисторический памятник. От ванны-душа отшатывается даже паломник, бородач из Гренобля.

Самым привлекательным местом гостиницы является ресторан и не только по тому, что дают на обильные завтраки и обеды. Огромный двусветный зал с окнами высотой в три этажа, завешенный расписанным занавесом красного шелка. Верх занавеса изображает церкви типа новгородского Софийского собора, а следующие три яруса ниже — купцов с кудрями, стриженными под горшок, с парой чаев, жбанами кваса, графинами водки; половых в белых штанах и рубахах на выпуск, с гребешками на поясах, с вьющимися кудрями, разносивших блюда с мясом, рыбой, графинами, чайниками. На самом нижнем ярусе представлена кухня, повара за работой.

Несложное наблюдение в советских ресторанах делит типы подающих и услуживающих на классы: тихоходов и ударников. Первым, работая парой, нужно не меньше полутора часа, чтобы накормить группу в двадцать человек. Вторые делают это с молниеносной быстротой. В Московской гостинице оказался достойный представитель этого класса.

Он вошел в ресторан вихлявой походкой, избрал на ходу выгодное положение между обеденными столами и кухней, присел, как цирковой гимнаст, в коленях, наклонился выжидательно вперед со сложенными ладовями, чтобы поймать скачек младшего брата и пустить его вверх во многократном сальто-мортале. Так было почти в точности, кроме слов другому услуживающему:

— Давай, Митя, кидай!

Под рестораном находится парикмахерская, и не простая, а как гласит вывеска: «парикмахерский мужской зал». Белокурая парикмахерша в коротком халате, на

основательном поставе ног, критически осматривает голову, поворачивая её из стороны в сторону большим и указательным пальцами. Вот-вот скажет: «Есть такие головы, которые, извините за откровенность, лучше не браться стричь».

— Так вам как, полуборт или полечку?

— Ась?

— Полуборт, говорю, или полечку. Кому как идет! Которые, на пример, брюнеты, то им одно...

ГОВОРИТ ЛЕНИНГРАД

— Говорит Радио Ленинград. Этот утренний час ассигнован вам для политического обозрения. Прослушайте последние новости... Сотни тысяч трудящихся Дании выступили с протестом... 80 миллионов трудящихся Японии заявили протест...

Протест против строя и хозяев? Строй в порядке и благополучии, хозяева в значительном количестве сами. А цифры внушительные! Только откуда им быть? «Трудящиеся» — советский штамп специфического значения. Если взять такую высоко развитую страну, как США, то там на население в 210-220 миллионов (цифры начала 70-тых годов, *примечание издателя*) приходится 85-86 миллионов, зарабатывающих себе на жизнь или помогающих своим заработком главному кормильцу семьи. Эта цифра в 40 проц. населения включает все отрасли экономической жизни страны: в ней и банкиры, цирковые короли воздуха, содержатели баров и игорных домов, писатели и артисты, домохозяйки, отдающие часть своего времени на работу в детских домах, магазинах, фермеры-миллионеры, и тому подобное. Среди этой массы «трудящихся» в советском смысле между третью и половиной. Таким образом в Дании, с её населением в четыре с половиной миллиона, «трудящихся» вряд ли 75-90 тысяч. Где же тут «сотни тысяч»! То же самое с Японией, с её населением в 110 миллионов. 80 миллионов

«трудящихся»! Это что-же, включая грудных младенцев и готовых отойти на вечный покой? Махнули что-то здорово! Такой грех взяли на душу!

Дорогие радио комментаторы, бросьте «охмурять» советского слушателя! Дайте лучше «второй вариант»! Скажите ему, что на 57-м году существования советской власти она ищет технического и финансового участия Америки и Японии в проекте прокладки газовой магистрали от Якутска до бухты Находка вблизи Владивостока, так как самой сделать ей это не под силу.

* * *

Двенадцатью часами позже. То же самое радио. Сладкий женский голос: «Вера в человека, вера в его будущее...» Вера ещё во что-то. Небо в советских алмазах? Пауза и мужской голос, как бы из-за кулис: «Дашь отворот!»

* * *

Уборщицы в коридоре гостиницы: «На работу не ходила, всё пьяная, пьяная...» «А ты всё с ней!» «А как же не быть?» «Сама, поди...»

* * *

Горничная, глядя на монету в руке: «Что вы, у нас не берут». «Но всё же!» «Ну, если уж так...»

* * *

В продуктовом магазине при покупке рижских шпрот; кассирша продавщице: «Это ты, Галя, дала ему за 77?»

* * *

В туристическом автобусе. Женщина гид: «А это улица Бродского». Советский художник, набивший руку и капитальчик на ленинско-сталинских сюжетах: Ленин у паровозной топки торопит машиниста ускорить дело революции. Ленин обходит первые отряды Красной Армии на Красной площади, при чем огромное полотно, украшающее музей Ленина, показано во «втором варианте» без фигуры военного комиссара Троцкого.

— Улица Троцкого? — спрашивает с радостным удивлением мадам Зильберт, и желтый лак ее дождевика липнет к окну.

— Нет, — давится от смеха гид. — Не его, а Бродского.

* * *

В Эрмитаже. Столпотворение народов. Завернувшийся кусок ковра, о который все спотыкаются. У ковра страж, который мог бы выправить его, но он предпочитает приговаривать: «Гражданка, подымайте выше ноги».

Туристка с юга: темное лицо с малиновым отсветом, мясистые губы и нос, голые ноги в курчаво-жесткой кахетинской заросли. Споткнувшись о ковер: «Нэ подумала, дюша любезный!»

У МОСКОВСКОГО ВОКЗАЛА

К отходу поезда на Москву такси стекаются многоводным потоком на Вокзальную площадь. Люди, чемоданы, ящики, баулы, кульки с едой и привязанными чайниками, клетки с птицами. Пульс жизни лихорадочно учащенный. Воздух насыщен перебранкой и сквернословием.

Полноватый господинчик в пыльнике и картузе сиреневого цвета только что выгрузил, после легкой сцепки с таксистом из-за переплаченного гривенника, свой багаж и сложил его горкой на истоптанном газоне. Он потыкал пальцем в каждую кладь — всё на лицо — и затрясся в счастливом смехе. Всё в нем, начиная с облачения, растопыренных розовых ушей, упитанного лица, раздутых крыльев носа, излучало столько счастья, словно он обобрал его у всего человечества. Он прохаживался вокруг своей клади, крепче брался за пояс пыльника, откидывался корпусом назад и заливался таким заразительным смехом, что казалось всё умолкало на площади.

Даже вид носильщика, кружившегося у его клади с тележкой «30 копеек за место», не омрачал его безоблачного состояния. Четыре с половиной рубля! Смешно подумать, заливался он блаженным смехом.

Сбегав кой куда, он вернулся в ещё более счастливом настроении, как раз в тот момент, когда солнце прорвалось сквозь облака и любовно заиграло на его пыльнике и картузе.

В кратких прорывах между припадками блаженного смеха он поглядывал то на миниатюрную женщину рядом, пришибленную напористым избытком счастья своего супруга, то на кладь... Вот эти два тючка в одну её ручку, чемоданчик и корзинку с чайником в другую... Вот этот баульчик под одну её теплую подмышку, а эту мелочь под другую... Как бы пристроить этот кулечек со снедью ей на голову! Уронит, неповоротливая, а там две банки малосольных огурцов! Жаль... А что осталось, придется донести самому. Ну, как нибудь!... Озаренный счастьем человек в сиреневом пыльнике и картузе, подталкивая жену сзади, бодро зашагал бронировать места на московский поезд.

— А ты всё пишешь! — Неожиданно наплыла фигура. В глазах томление, в голосе пьяная укоризна. — Ты лучше скажи, где мне здесь достать бормотухи! Не знаешь? А пишешь!

У вокзала молодой носильщик набросился на старого за то, что тот положил на свою тележку лишний чемодан. Он придирчив, нахален, «имею полное право». Старик молча укладывает вещи, делая вид, что не слышит склочника, «Володя, оставь» усовещают его другие носильщики. «Не стоящее».

На сцене появляется пожилая женщина. «Зачем нахальничать?» «А вам какое дело?» «А такое, что вызову милиционера». «Ну и вызывайте!» «Володя, оставь, не стоящее!» «Вот он и покажет, как выражаться». «И пусть покажет!» «Вот сию минуту!» «А идите вы, гражданка, на х..!»

Родина мама, мамулечка кроткая! Как сладостно ласкаешь ты слух отщепенца, отвыкшего от твоей певучей речи, от твоих умиляющих душу слов!

ДОСУЖИЕ ВЫВОДЫ

Начнем с положительных. Вопреки заклинаниям зубров из эмигрантской заповедной пущи, солнце всё же всходит над советской империей. Она по-прежнему необъятна и в сыновью преемственность прежней простирает великодержавный путь далеко за своими пределами. Хорошо это или нет, дело взгляда.

На улицах чистота и порядок. Сотни женщин метут тротуары и мостовые тяжелыми метлами. Это, как говорят на родине, «поздравительно — опрятность, опять же заработок женщинам». (Мужчин на этих работах как-то не видно). Но под силу ли это занятие женщинам, пожилым, главным образом? Не приравнены ли они к алжирцам и порториканцам, убирающими улицы Парижа и Нью Йорка и не вручную, а машинами? Но там расизм и несправедливость! Какой же расизм в союзе, если трудится овдовевшая сестра или старушка мамаша? Надо же и им с чего-то жить!

* * *

Особенного внимания заслуживает реставрация монастырей, церквей, старинных зданий, исторических памятников. Этой замечательной деятельности насчитывается десятки лет, зачатием которой было стремление художников, архитекторов, историков, скульпторов, людей свободных профессий избежать партийного ига и тупости и создать отрасль живого прекрасного дела. Уход «в эмиграцию внутреннюю» вряд ли был легким и обошелся без жертв и гонений со стороны некоторых партийных кретинов.

Одним из разительнейших примеров этого дела является Петергоф, ныне Петродворецк. Немецкая осада Ленинграда причинила ему большие разрушения. Теперь это всё восстановлено полностью, как было в царское время. Сверкают под солнцем фонтаны, горит под ним позолота античных статуй.

Теперь, когда это реставрационное движение прочно вошло в жизнь, пора приняться за возрождение человека на советской земле. Тяжелая пята марксизма-ленинизма придавила его, он всё еще не может очухаться от зловонной миазмы партийной мертвечины, он пришиблен, лишен голоса, своего взгляда, принужден идти на партийном поводу и делать то, на что наускивают его партийные кликуши и мракобесы, как он делал на фабричных митингах, осуждая на смерть знаменитых московских врачей, требуя уничтожения Пастернака и легионы других неповинных людей.

Пора оживить его прежней кровью ушкуйника, бунтаря, вольного сына степей, российских просторов, создателя русской сказки, мужика хозяина своей воли и жизни.

Пора возродить в нем чувство совести, божественное начало, издревле присущее русскому человеку, совести-матери подлинной правды, справедливости, доброты, великодушия, растленной советчиной.

Вот он шагает по улицам своих городов, на вид замкнутый, сосредоточенный, но готовый озариться улыбкой при первом теплом человеческом слове. Зачастую он сочетает две службы, чтобы жить сносно. Но если у него есть свободное время, ему некуда девать его: всего мало, недостаточно, партийная власть скупа на его досуг, развлечения. У ресторанов швейцары сдерживают толпы, желающих попасть туда: «нет местов». Брошюра Интуриста (1974-ый год) о Ленинграде перечисляет, что есть в городе: 20 ресторанов, где надо платить талонами Интуриста, три бара, платить валютой, и только 11 ресторанов, баров и кафе, где можно платить рублями. Единственно ради сравнения: в небольшом испанском городке Аликанте, где пишутся эти строки, и его окрестностях вдоль Белого побережья, площадью с Ленинград, но с населением в четыре-пять раз меньше, сотни ресторанов на все вкусы и цены и неисчислимое количество кафе, баров и всевозможных забегаловок.

Понятны поэтому длинные очереди у кафе, закусочных, пивных с теплым водянистым пивом. Надо всюду ждать с изречением советской мудрости: «Стой спокойно с чистой совестью» и только время от времени подавать негромкие голоса стражу у входа: «Вышли двое, впусти двух»! Администраторы этих мест, обычно женщины, наделены большой властью над советским человеком. Приказ одной из них служащим в ресторане: «Девушки, больше не пущать ребят. Закрыть на обеденный перерыв или объявить санитарный час. Которые ребята допивают кофе, пусть пошевеливаются!»

Всюду, где только можно было видеть в стране за двухнедельное пребывание, этого советского человека не «пущали». Длинная очередь советских граждан у кремлевской Оружейной Палаты. Группы иностранных туристов с юркими гидами во главе, пропускаются молниеносно. Своим говорят: «Чего вы топчитесь здесь, только мешаете нам работать. Билеты проданы до конца месяца» — а это было в начале. Помнится также добрый наказ гида: «Притворитесь, что вы не говорите по-русски, тогда вы попадете в Третьяковскую галерею вне очереди».

Минимально он обеспечен, с работы погнать его не могут; если он пьяница и лодырь, «возьмут на общественность, пожурят и отпустят». За квартиру он платит из расчета 13 копеек за квадратный метр жилой площади, исключая ванны и кухни, 8 - 10 - 13 рублей в месяц, и ещё несколько за свет, газ, воду, телефон. Медицинская помощь бесплатна, налогов он не платит. Чего же лучше! Но если он захочет потратить весь свой средний месячный заработок в 150 рублей на покупку огурцов по 60 копеек за кило, он может купить только 250 килограмм, в то время, когда рабочий в Испании, сравнительно бедной страны, на свой средний заработок в 10-12 тысяч песет может купить 750-900 килограмм. Первый на своё месячное жалование может купить 43 полулитровых бутылки кавказского коньяка, второй — до 200 литровых буты-

лок такого же хорошего качества; в том же отношении — 7 пар мужской обуви против 25-30. Таких примеров можно привести до бесконечности. Многие товары ему совсем недоступны, они скрыты от его глаз в магазинах для туристов и ясновельможных партийных панов. Мужской костюм сталинского покроя стоит 100-125 рублей. Поэтому толпа, на вид сытая, подчас подвыпившая, ходит в брючках и юбочках сероватого цвета и качества и таких же свитерах и спинжачках.

Действительно, налогов он не платит, спасибо за заботы родной партии. Но у себя в стране он гражданин второго разряда.

РАССТОВАНИЕ С РОДИНОЙ

Утро. Московская гостиница в Ленинграде. Внизу, в двух группах собраны чемоданы, числом в 45-50, норвежцев и французов, готовых для отправки на ленинский аэродром. Значит, 20-30 комнат гостиницы освобождены.

У прилавка администратора толпится десятка два советских граждан, мужчин и женщин, в поисках комнат. Ещё с вечера на прилавке стоит плакат: «Мест нет». Спрашивать нечего, тем более, что администратор, обычно женщина, или погружена с головой в свои бумаги, или ведет оживленный разговор с соседкой на паспортном пункте.

Всё же слышатся робкие голоса о комнате. Лучше было бы сказать: «Местов нет!» Хоть кто нибудь улыбнулся бы, чем нетерпеливо указывать головой на плакат.

Кого ждут пустые комнаты наверху? Забронированы для очередной группы туристов с валютой? Или у администраторши не дорубило в голове, что пора снять плакат, позвонить горничным, чтобы приготовили комнаты для своих.

• • •

Как замечательно — центр Ленинграда чист от докучливых лозунгов на крышах зданий! Только выбираясь к

местам, застроенным однотипными жилыми домами, видишь, сколько саженных слов партийные старатели нагрузили на их крыши! Тут и «Слава родной партии», «Да здравствует ленинизм-культивизм», ну и пусть здравствует, только пусть не мертвит живого человека!

На аэродроме повторяется то, что началось в Риге, затем в Таллине и, наконец, в Ленинграде: встреча и проводы Гали, крестьянской девушки, вывезенной немцами во время войны на работу в Германию. Плакала её родня из под-псковского колхоза. В отеле Даубао в Риге плакала администраторша, уж на что эта порода бесчувственна. Плакали девушки Интуриста. На Балтийском вокзале Ленинграда плакала поездная проводница. А на аэропорте при окончательном расстовании лились потоки слез.

После прохода через денежный и паспортный контроль попадаешь в последнее помещение, разделяющее два мира. В конце его — чистилище для кармана, магазин «Березка». Там уже толпа, через которую напористо пробирается бородач-секретарь, сын французского пролетариата, с толстой книжкой чеков Американ Экспресс Ко. Полки «Березки» пустеют, но богатеет советская казна. Французские паломники прут оттуда бутылки зубровки, балалайки, конторские счеты, ваньки-встаньки, незатейливый товар советского экспорта.

• • •

Аэродромный автобус. Тесно от людей и советской продукции, накупленной в последнюю минуту. Начальствующий приказ: «Приготовить паспорта и выездные визы».

Трап подкачен к самолету, но ещё «не пущают» — не прибыло начальство. Наконец пошли. На первой ступени трапа стоит подполковник охранной службы, за ним выше сержант. У подполковника острый взгляд, натренированный на воображаемых беглецах. Он зорко всматри-

вается в фотографии на паспорте и выездной визе, затем в лицо. Пардон, неувязка! Вот здесь как бы помоложе, да и зубки ровнее, а у подлинника пломбочка! Неужели наш советский гад ловчит смотаться заграницу?

* * *

Опять «карамель взлетная» в леденцах и в стюардессах, белокурых, сероглазых, полнотелых. А Собакевич-младший на борту? Как-же! Вон стоит в дверях пилотской кабинки. На этот раз как будто ниже ростом. Что же, всё может быть, служба давит.

Последний советский завтрак: черная икра, отличное белое вино, замечательное сладкое, после которого паломники-французы вытаскивают бутылки теплой водки. Пей до дна! Стюардессы выкатывают тележки с новыми бутылками, с советскими папиросами, икрой, куклами. Дорогие паломнички, кланяемся вам в ноги, выкладывайте последнюю монету ради франко-советской дружбы! Помогите советчикам собрать обильный урожай в иностранной валюте.

Август-сентябрь 1974
Аликанте, Испания

СЕВИЛЬЯ

Джордж Сантаяна, испано-американский философ как-то привел замечание своего молодого друга: «Севилья ничего из себя не представляет, если нет лошади и любовного похождения; но если есть, тогда она — всё». Он был уже в преклонных годах, когда вспомнил — не без постальгического чувства — слова, услышанные им в прошлом веке.

Верховых лошадей в нынешней Севильи нет. Они в прошлом. Для многих в прошлом и любовные похождения. Но Севилья до сих пор — всё.

Певучее название жемчужины Андалузии ласкает ухо, тесня впечатления, сохранившиеся с детства... Поет, шумит Гвадалквивир... От Севильи до Гренады средь нескошенных полей... Бездыханные севильские ночи, утопающие в аромате лимонов и лавра... Крепнет впечатление о прошлой связи с Севильей, которой в сущности не было до сего времени. Вон там, ниже моста — тогда его ещё не было и в помине — Магеллан строил корабли для новых открытий во славу Испании, закончившихся первым кругосветным путешествием. Вон там вдоль берега до сих пор стоит тяжелое кирпичное здание, табачная фабрика, где ветреница Кармен с одинаковой проворностью крутила сигары и головы мужчин, пока ревнивый Хозе не заколол её у входа на арену боя быков под гром восторженного гимна в честь торреодора, её нового любовника... Вот ряд старинных барских домов на главных улицах, ещё не сдавших свои места небоскребам. Сквозь чугунное кружево массивных ворот видны просторные портики, утопающие в цветах и зелени, с широкими лестницами на балконы, за которыми в уединен-

ной тиши доживает свой век старая Испания... Иногда видишь, словно на оживших полотнах Гойа, пергаментные лица чопорных старух в наколках, кружевах, с веерами в костлявых руках, когда в сопровождении дочерей, племянниц, невесток, внучек и прислуги они сходят вниз, шурша по мраморным ступеням лестниц черным муаром старинных платьев.

* * *

Прикосновение руки к древности, к старинной чугунной решетке производит гальванический эффект; неправдоподобным кажется нахождение себя в тени многовекового готического собора или на тесных улицах гетто, когда-то давшего ряд выдающихся еврейских ученых, философов и правителей арабских владений Андалузии.

Уличный шум не доходит до Альказара, сочетания крепости со дворцом, до просторных садов за каменными стенами. Трепетное движение листвы, шелест мягкой обуви по мрамору — и кажется, что тени калифов, придворных поэтов, философов, ученых проходят по тенистым аллеям от внутреннего Гипсового дворика до двора Львов и Кукол к просторному входу в Альказар через Львиные ворота. Своды дворца, мозаичные арки, портики с изящными колоннами, балконы, амбразуры. Опять сады, фонтаны, журчащая вода, цветущие деревья, клумбы, аллеи в роскоши красок и ароматов.

* * *

Полдень. Одна створа тяжелых ворот собора открыта. Горсть молящихся спешит пробраться сквозь пеструю толпу туристов к передним скамьям, припадая у входа на колено и обмакивая пальцы в урну со святой водой. Большинство их женщин в темных платьях с черным кружевным покрывалом на головах, и старики, неотъемлемая, словно скульптурная часть собора, контраст туристической вольности и пестроте.

Скудный свет пробивается сквозь цветные стекла высоко под темными сводами, теряясь в серой пыли над резным деревом алтарей и часовень, над балконами и красными креслами кардиналов и епископов. В широком проходе шесть рыцарей несут помост с гробом Христофора Колумба, наклоняясь стремительно вперед, как бы в спешке вырваться из под давящего сумрака к полуденному солнцу соборной площади. Только идя на отдаленное светлое пятно, выходишь к огромному алтарю, сверкающему золотым заревом множества свечей в ослепляющей игре света на изваяниях святых, бронзовых вратах, подсвечниках, кардинальском троне, креслах для князей церкви... И опять полумрак, тусклый блеск религиозной живописи, которую нельзя разглядеть. Низкие ниши исповедалень, перегороженных надвое, для пастырей и для стада, перетряхивающих ветхий инвентарь человеческих грехов, совсем, как заведено встарь, с той только разницей, что неосторожное признание кающегося, мгновенный, не положенный по чину экстаз или сомнение святого отца в искренности грешника уже не влекут тяжких последствий.

* * *

Однажды вечером в пятнадцатом столетии одна из папертей этого мрачнейшего из всех мрачных готических соборов озарилась неожиданно светом и на ступенях появилась высокая фигура с распростертыми руками и склоненной головой. Странным было то, что народ как бы ожидал появления этой светлой фигуры. Его моментально узнали и устремились к Нему, окружив Его и следуя за Ним. С тихой улыбкой бесконечного страдания Он молча проходит среди них. Солнце любви горит в Его сердце, лучи света и всепрощения текут из Его очей и, изливаясь на людей, вызывают в их сердцах ответную любовь. Он простирает к ним руки и от прикосновения к Нему, Его одеждам исходит исцеляющая сила...

Так восторженно подходит Иван Карамазов к проникновеннейшему месту своей поэмы «Великий Инквизитор», читая её брату Алеше.

...Накануне в блистательном аутодафе, в присутствии короля, кардиналов и епископов, рыцарей и прелестных дам, при всеобщем ликовании народа на соборной площади во славу Божью сожгли сотню злых еретиков. И вот после вчерашнего шумного торжества Он тихо сошел на «стогны жаркие» города, чтобы ещё раз побывать среди людей в том человеческом облике, в каком ходил среди них пятнадцать веков тому назáд.

Как и прежде, чудо сопровождает Его. «Господи, исцели меня, да и я узнаю Тебя», восклицает слепой старик, и чешуя сходит с его глаз. В это время к собору несли гробик с семилетней девочкой. «Он воскресит твое дитя», кричат из толпы плачущей матери. Она падает перед Ним на колени: «Если это Ты, воскреси дитя моё!» Его взгляд полон сострадания и Он раздельно повторяет слова, сказанные Им над гробом дочери начальника синагоги в стране Гадаринской: «Талифа кума» и «воста девица».

Пока происходило в толпе смятение, из кардинальского дворца вышел девяностолетний старик с иссохшим лицом и впалыми глазами. Великий инквизитор был одет в грубую монашескую рясу, а не в то пышное облачение, в котором он появился на вчерашнем сжигании еретиков. Ещё издали, наблюдая, что происходило на площади, как появилась процессия с гробиком и как воскресла девочка, его лицо омрачилось и зловещий огонь засверкал в его глазах. Он простирает свой перст и велит страже забрать Его.

Всё, что произошло в темнице, куда поздно ночью вошел великий инквизитор для допроса Пленника, относится больше к нашему времени, чем к прошлому. Суровый старик хочет сказать то, о чем молчал долгие годы. О свободе. «Не Ты ли часто говорил народу: хочу сделать

вас свободными? Теперь ты увидел их, которые первыми будут подгребать уголь к Твоему костру, когда мы сожжем Тебя, как еретика... Дорого стоила нам эта свобода, но мы докончили, наконец, это дело и покончили крепко... Люди уверены больше, чем когда-либо, что свободны вполне, принеся нам свободу и покорно положив её к ногам нашим... Мы поборолли свободу, чтобы сделать людей счастливыми, ибо теперь, при инквизиции, стало возможным помыслить в первый раз о счастье людей».

Как и о страшном и умном духе самоуничтожения и небытия, который искушал Его в нагой выжженной пустыне. О хлебах и камнях... «Обрати их в хлебы, и за Тобой побежит человечество, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что Ты отымешь руку Свою и прекратятся им хлебы Твои... Но мы сделаем иначе: получая от нас хлебы, их же руками добытые, берем у них, чтобы им же раздать, без всякого чуда, увидят, что не обратили мы камней в хлебы, но воистину более, чем самому хлебу, рады они будут, что получают его из рук наших...»

Между Севильей и далекой северной страной разница во времени в нескольких часах. Здесь пять часов теплого апрельского дня. Там близится к ночи. Кое-где пожалуй валит запоздалый снег. Холодно и темно на огромных пустых пространствах. Страшно от холода, пустоты и от многого другого.

Пророчество великого писателя о свободе, об осчастливленном народе, о своем же хлебе, отнятом у него и розданном ему же с обязательным целования рук дающего исполнилось с потрясающей точностью.

Но какое дело Севильи, Гвадалквивира, Андалузии, случайного странника до того, что делается за тридевять земель! Закончилась Святая Неделя, отыгрались страсти Господни с величественными ночными шествиями лю-

дей, закутанных в монашеские рясы, с черными масками и остроконечными клобуками, несущих кресты, свечи, распятия, с десятками колесниц и платформ. Впереди ещё несколько фиест, живых, ярких, красочных, выражающих артистичность Андалузии, её любовь к песне, танцам, нарядам.

...Гаснут дальни Альпухары, золотистые поля... Золотая Башня отражается в вечерней воде Гвадальквивира с фотографической точностью. Шумно и тесно на улицах. Надвигается теплый вечер... Пробраться ещё раз к тихим местам у собора, Альказара, к старым домам гетто. За углом небольшой дом с бронзовой плитой: «Здесь умер Бартоломе Естебан Мурильо». Помнится, что такие же плиты встречались на стенах домов в других частях города. Что-же, это похоже на Андалузию, на его легковерный, склонный к тщеславию и любви к показу народ.

* * *

...Близится к полуночи... На соборной площади темно. Что-то скользнуло отблеском света по бронзовому затвору соборных дверей. Что это, неужели ещё?.. Нет, это только отражение фонаря запоздалого фиакра.

Севилья, Испания
Апрель, 1974

ПАСХА В УЖДА

От Аликанте до Алмерии, южного порта в Алмерийском заливе, семь часов автобусом. Казалось бы утомительным сидеть в тесноте, в облаках удушливого табачного дыма, в потоке пронзительно-громких голосов испанок, но дорога живописна, пробегая то вдоль засеянных полей, то мимо виноградников, то врезаясь в узкие горные перевалы. В скученных селениях автобус, почти не снижая хода, отбрасывает пешеходов с тесных улиц к стенам глинобитных домов.

Мурсия, столица провинции Мурсии, большой торговый центр, представляет вид благоустроенного города, с широкими бульварами, обсаженными высокими деревьями, с величественным собором и монастырем, витринами фешенебельных магазинов.

Лорка, другой большой город на пути, противоположность Мурсии в том, что это ещё нетронутая старина Испании. Ещё по дороге встречались развалины средневековых замков, крепостей, остатки древних стен, монастырей, статуй распятого Христа, воздвигнутых высоко на горах.

Предпасхальная неделя, Santa Semana. В Лорка большое стечение народа, прибывшего из многих мест страны. Здесь в Великий Четверг устраиваются конные состязания на подобие состязаний древнего Рима, в которых лошади, запряженные по три и четыре в колесницы, несутся бешеным ходом по улицам города.

Опять в пути. Позади в автобусе слышатся английские слова. Английская пара, которая обратила на себя внимание ещё на автобусной станции Аликанте. У неё оплывшее лицо, как бывает с людьми, пристрастившимся к вы-

пивке. У него было узкое лицо, узкий нос, рысьи брови, бегающие глаза. На первый взгляд — вид человека, за которым охотятся сыщики Скотланд Ярда по подозрению в очередном ограблении поезда. В автобусе завязывается беседа. Дорога идет вверх. Вдали отроги Сиерра до лос Филабрес. Пески, камни, овраги и ущелья, вымытые потоками столетий. Выжженная пустыня, напоминающая юго-восточную часть Калифорнии и штат Аризоны. Как бы в подтверждение этого сравнения голос англичанина:

— Здесь американские кино компании крутят ковбойские картины. Удобно и дешево, как говорится, на стоимости шнурков для ботинок. Сейчас здесь английская компания готовит приключенческий фильм. Там нас уже ждут.

Становится совсем интересно. Следовательно, англичане часть этого дела. В какой роли? Звезды ковбоя, кумира экрана, трясущегося в дрянном автобусе? Кинорежиссер, кинооператор, сценарист? А кто она, героиня, которую похищают бандиты? Звезда с её лицом? Стара и для секретарши. Гримёр?

Теперь можно было чем заняться, над чем ломать себе голову. И странно, их лица преобразились: она стала даже привлекательной, миловидной. Кто сказал, что у него бегающие глаза и вид налётчика? Наоборот, глаза вдумчивые, зоркие. Пожалуй глаза большого художника. Ах, человеческие первые впечатления! Вот и полагайся на них.

* * *

Над испанской Аризоной нависла предвечерняя тень. Слева на крутой горе показался старинный замок. Ещё дальше и выше в горах, уже в темноте, за крутым поворотом выплывает светлое пятно селения, как белый скит, как ласточкино гнездо, прилепившееся к скале. Это Мохакар, с знаменитым «парадором», гостиницей, переделанной из средневекового замка.

До Алмерии сравнительно ещё далеко. Двухколейное шоссе заполнено тяжелыми грузовиками, частые подъемы и крутые повороты замедляют движение. Промелькнул знак: «50 километров», по ходу движения ещё полтора часа езды. Справа высоко на крутизнах гор выплывает ещё ослепительнее пятно, чем Мохакар. Это — Собрас. Что заставило людей селиться на головокружительной высоте? Страх перед низиной и нападений оттуда?

* * *

Наконец Алмерия. Около десяти ночи. Только в полночь отплытие парохода в Мелилье, испанский порт на Средиземном побережьи Марокко.

Бурная ночь. Пароход трепало, как щепку. Стоны и крики неслись из кабин. В коридорах нельзя найти места, куда ступить ногой из-за морской болезни.

Семь часов утра. Темные тучи. Африканская сторона. Крепость, сливающаяся коричневым цветом с высоким иссточенным берегом.

Мелилья и Сеута, испанские порты в Марокко, как и Гибралтар, английский военно-морской порт в Испании — пережитки колониальных дней, доживают последние годы. Каким целям служат они ныне? Приверженность к прошлому, к отыгравшемуся величию?

Сразу за старинной крепостью, выстроенной рядом завоевателей трудом пленных и покоренных народов, лежит город, по виду огромный базар, в котором каждый угол, каждая щель забиты дорогим товаром: японскими и немецкими камерами, радио, телевизорами, шотландским виски, французскими духами, всем тем, что по положению порто франко можно купить и сбыть, не платя таможенных накладок. Рай для спекулянтов и контрабандистов.

Недалеко от Мелилья находится пограничная застава. На испанской стороне щеголевато одетые пограничники быстро проводят несложную проверку паспортов.

Другое положение на марокканской стороне. На площади скопление автобусов, автомобилей, мотоциклетов, велосипедов, мулов и осликов, запряженных в повозки. У низкого здания с облезшей штукатуркой, у маленького темного окошка нетерпеливо топчется толпа. Порывы холодного ветра. Солнце за темными облаками.

За окном малоподвижной марокканец просматривает каждый паспорт, сперва с начала до конца, затем с конца до заглавного листа, долго изучая на ней фотографию, словно наслаждаясь её видом. Что может быть хуже, чем зависить от такого капуна в тесной толпе под холодным ветром! Но это ещё не всё. Когда, наконец, подходит очередь, внезапно захлопывается щиток у окна. В чем дело? Капун или устал, захотел есть, или другая нужда заставила его расстаться с толпой у окна.

Пасиенсия! Какое другое слово нужнее в этих краях! Сколько времени ждать, пока усталый человек передохнет и наберется новых сил?

Наконец окно открылось и глаз капуна застрял на паспортной фотографии и оригинале; осталось пройти ещё таможенный осмотр. Сбоку дороги скопилось с десяток видавших виды автомобилей, из недр которых таможенники вытряхивали скарб в поисках контрабанды. Хозяина ослика с перегруженной тележкой чуть не заставили снять штаны, так что, казалось, деликатный ослик прикрыл глаза, стыдясь бесцеремонности таможенников. От рухляди, выброшенной из тележки, часть отложена в сторону для таможенного сбора. Три выхода: плати казне, суй незаметно бакчиш, или расставайся с товаром.

Мерседес — патриций среди престарелых, хронически больных фиатов и ситроенов — внушает чувство уважения у таможенников и полицейских. Они подтягиваются и подносят руку к козырьку и обычное: «Что у вас есть заявить», звучит, как «Счастливого пути, ваше превосходительство!»

Дело не столько в мерседесе, сколько в молодом человеке, сидевшем за рулем, Гонзалезе, сыне известного доктора Галипиенсо, аккредитированного при испанском консульстве в Ужда.

* * *

Ужда, живописный город на границе Марокко и Алжира, разделен на две части: французскую и арабскую. В первой широкие тенистые бульвары, виллы, газоны, цветы, импозантные правительственные здания, наследие французского колониального времени. Этой части Ужда не больше 75 лет.

Арабская часть утопает в седой древности. Это узкие кривые улицы, слепые переулки, ветхие дома, одинокие деревья, тесные площади, лотки, понурые ослики. Но самый крепко заправленный сгусток арабской жизни, сочность и красочность её — это Медина. Огромное место, обнесенное каменной стеной, с боевыми зубцами и башенками, с широкими арками ворот, всё выкрашено в цвет жженой сиены, в такую добротную по качеству краску, что не смыли дожди столетий, не сожгло знойное африканское солнце.

Внутри стен — базар времен тысячи и одной ночи и сорока разбойников. Тесно, шумно, живо, пестро. Бурнусы, кафтаны, чалмы, фески, каракулевые шапки, плащи из верблюжьей шерсти, остроносые шлепанцы, дельцы всех оттенков, торгаши, праздношататели, погонщики, ослы, мулы, барашки, собаки. Стороной держатся женщины, закутанные в мешковатые бурнусы белых, серых, коричневых цветов до цвета бургунского вина, с единственной данью времени — в модных туфлях на высоких каблуках и пробковых подошвах. Иногда сквозь их чадры видны лица чарующей красоты.

Площади забиты автобусами, прибывшими из многих мест страны, грязные, полные стариков, женщин, детей, с матрацами, велосипедами, тазами и другим скарбом, привязанном на крыши.

Неожиданность встречается путнику на каждом шагу. Из узкой зловонной щели, где трудно разойтись двум человекам, попадаешь на широкую улицу с магазинами по обеим сторонам, в витринах которых выложены золотые цепи, браслеты, ожерелья, брошки филигранной работы, так прославившей искусство арабского мира.

Оттуда опять на площадь. Окруженный толпой детей и взрослых, то сидит, то ходит по коврику человек; его голос то поднимается, то доходит до драматического шопота, руки в выразительной жестикуляции. Это рассказчик, неотъемлемая часть базара, повествователь старины, героических дел прошлого арабского мира. Судя по завороженным лицам слушателей, рассказчик он увлекательный.

Неподалеку от него на таком же коврике сидит благочестивого вида человек с раскрытым Кораном в руках. Вокруг него тоже толпа, не столько слушавшая его заклинания, сколько оберегавшая его от недоброго глаза и назойливых камер туристов. У арчатых ворот, окруженный склянками настоек, восседает на коврике профессор медицины с раскладывающейся куклой в руках. Он снимает часть грудной клетки и брюшной полости, водит загнутым ногтем по розовым органам куклы и объясняет болезни, опасаться которых надо пожилым людям. У ног трех старых бородачей клубятся змеи, а в руках висят высушенные змеиные кожи. Что эти старцы делают на базаре, непонятно, но без них базар не был бы арабским базаром.

Из темной щели выбегают на свет школьники с грифельными досками в руках. Им по 6-7 лет, худые, юркие, дети базарной нищеты. Они растекаются среди толпы по темным от дождя улицам и площадям, где лучше и живее, чем сидеть на холодном земляном полу и зубрить изречения из Корана. Они ласковы, не навязчивы, как дети других арабских стран. Девочки улыбаются доверчиво, некоторые с подкупающим лукавством. У всех пре-

красные глаза миндалевидной формы, теплого коричневого бархата. Они пугливо отворачиваются при виде человека с камерой, всё же надеясь, что их снимут. Мальчики храбрее. Они выпячивают грудь, набирают такое количество воздуха, так что надуваются щеки, держат руки по швам и долго ещё, после того, как щелкнула камера, сохраняют величественный вид.

Но на базаре среди взрослых, их суеверия и невежества фотографический аппарат может причинить большие неприятности, так как он снимает не только физический облик человека, но и его душу, оставляя её на произвол фотографа делать с ней всё, что он захочет, а на самого него навлечь несчастья, болезни и сгубить навсегда.

* * *

Дом доктора Галиниенсо. Барский особняк, большая гостиная, картины на стенах, одна из них вид Парижа известного русского импрессиониста. В столовой дубовый стол человек на двенадцать, кружево старинной скатерти, хрусталь, серебро.

По случаю праздника и русских гостей хозяин ставит пластинку «Пасха» Римского-Корсакова. Хозяйка, классической красоты, как королева царствует за столом. Ниева, смуглая красивая дочь, такой же красивый сын Гонзалез, доктор, дородный человек с приятным открытым лицом, породистая испанская семья, живая, гостеприимная, сердечная.

После обеда к кофе и коньяку собираются гости, испанская знать Ужда: директор французского лицея, веселый аббат, настоятель местного собора и ректор духовной школы, несколько других видных лиц. В гостиной поднимается горячий спор, начавшийся с идеи значения Христова воскресения, как воскрешения душ и, затем, раскрепощения человеческого духа вообще. По мере того как разгорался спор, удлинялось лица аббата, сперва добродушно отшучивавшегося, затем поглядывавшего

то с изумлением, то с испугом на главную спорщицу.

Роль эта принадлежала племяннице хозяина Трини, молодой девушке, одаренной художницы, внесшей в спор столько страсти и пыла, как в свои картины и в силу этого направившей суть его от раскрепощения духа к раскрепощению плоти, девичьей — проблема ещё некоторой сложности в старомодных семьях Испании.

• • •

Бетонное здание единственной гостиницы «де люкс» в Ужда, «де люкс» по признаку «На безлюдье и Фома дворянин». Утро перед отъездом. В фойе щеголяют офицеры марокканской кавалерии в нарядной форме с красными лампасами, сворачивающимся от бедра к коленным чашечкам. Накануне были конные состязания и на прилавке отеля стояли серебряные кубки, выигранные ими. Гордые лица, поздравления, счастливые женщины, радующиеся успеху своих красавцев.

Отъезд на аэродром для полета в Оран, Алжир. Таксист, по собственному заверению самый надежный человек, доставит своих пассажиров, куда нужно, бодро катит по дороге. До аэродрома километров десять. Когда дорога поднимается вверх, то видна его контрольная вышка. Но странно, чем дальше катил такси, тем дальше удалялась она, пока не исчезла совсем. В это время такси подкатил к низкому зданию и таксист радостно сказал, что приехали. А где же аэроплан? Какой аэроплан? Это пограничная застава. Так тебе же, марокканскому ишаку, было сказано везти на аэропорт!

Теперь настало тревожное время: как далеко до аэродрома и добежит ли престарелый такси? Два полета в неделю. Возвращаться в «де люкс»?

Только на полпути таксист обрел дар речи, если так можно назвать сокрушающий вой и горестные заклинания по адресу Аллаха и злосчастных пассажиров, подрядивших его.

При приближении тяжело пыхтевшего такси к аэродрому, над ним показался крохотный аэроплан. Через минуту-две он снизился и, прыгая на шатких велосипедных колесах, как человек, разминающий затекшие ноги, покатился вперевалку по асфальтовой дорожке. Боже, неужели это Блерио, парусиновая модель шестидесятилетней давности, всё ещё пребывающей в своем младенчестве!

На самом деле оказался маленький самолет на 10-12 пассажиров, своего рода гордость таких компаний, как Марокканская Королевская линия, шагнувшая без промежуточных средств передвижений сразу от ишака и верблюда к воздушным полетам.

* * *

«Необыкновенные события, описанные в этом повествовании, произошли в сороковых годах в Оранс. Принимая во внимание их исключительный характер, нельзя не признать, что они не должны были случиться здесь в Оране, большом французском порту на алжирском побережьи».

Так Альберт Камю начинаст свою замечательную книгу, озаглавленную «Чума».

«Нельзя не признать, что город сам по себе мало привлекателен... Как представить себе город без голубей, без деревьев и садов, не слыша ни биения крыльев, ни шелеста листвы», рассказывает он дальше.

И, действительно, чувствуется что-то придавленное нависает над городом, что сразу бросается в глаза после пребывания в Марокко, также в бедной стране, и также недавно ставшей независимой. Но там жизнь бьет ключем, базары, лавки, кафе полны народа. Какой контраст!

Гранд Отель, когда-то по виду фешенебельное место, носит следы безхозяйственности. Отведенный номер оказался неприбранным. В другом, после долгого телефонного совещания коридорного с конторой, оказалось не

лучше: в раскрытом гардеробе висели чьи то брюки с красными подтяжками, а на полке рядом с фетровой шляпой стояла ночная посуда.

В ресторане официанты заняты больше канцелярским делом — учет-переучет, ревностное занятие социалистических стран — чем обслуживанием посетителей.

По дороге в порт. Чуть в сторону от центра на улицах стоят лотки со всяким домашним скарбом для продажи. Уличные кафе и бары почти пусты. Те, кто сидят в них, видимо сидят от безделья и привычки, «выпить хочется, а не на что».

В здании классической архитектуры с надписью над входом «Консерватория» разбиты стекла окон. Несколько французских магазинов, видимо малая часть того, что осталось здесь после войны Алжира с Францией за независимость, казалось доживали последние дни, несмотря на упорство их владельцев считать, что ничего не произошло в стране и что они по прежнему могут наслаждаться роскошью колониальной жизни.

Огромный порт, несколько грузовиков, слишком тихий для живого мирового порта. На открытом складочном месте, под дождем или знойным солнцем стоит линия желтых тракторов советского производства. Вдоль порта высоко над ним идет бульвар, позавидовать которому мог бы знаменитый Английский бульвар Ниццы, если на нем было бы больше движения, были бы кафе и рестораны, полные нарядной публикой, и та же нарядная толпа прогуливалась по нем, сидела бы на скамьях, любуясь морем, вместо десятка полтора алжирцев, сидевших на них с понурыми головами, которым, казалось, нечего было делать у себя в стране.

Что-же особенное случилось в Оране в сороковых годах, о чем несколько загадочно упоминает Альберт Камю в первых строках своей нашумевшей книги?

«Утром 16-го апреля доктор Риё, выйдя из своей клиники, наткнулся на лестничной площадке на дохлую крысу... Вечером у входа, нащупывая в кармане ключ, чтобы открыть дверь и пройти к себе, доктор Риё увидел большую крысу, которая шла навстречу ему из темного коридора. Она шаталась, её шерсть была мокрая, останавливалась, стараясь сохранить равновесие, шла опять ему навстречу, задерживалась вновь, затем закружилась и с легким писком повалилась набок. Её рот был чуть открыт и оттуда сочилась кровь».

Так началась в Оране страшная эпедемия чумы, стоившая городу много человеческих жертв.

* * *

То же число: 16-ое апреля. Никаких следов от чумной эпидемии не осталось, ведь с тех пор прошло сорок с лишним лет! Но осталось с той же силой первого впечатления, отмеченного неделю тому назад, ощущение чего-то серого, давящего над городом. Пора прощаться!

На аэродром семья доктора Галипиенсо, приехавшая проводить Трини и её русских друзей. Тут же были испанский консул и вице-консул из Орана, как честь доктору Галипиенсо. Вице-консул, рыжеватый сеньёр с рысьими бровями и тараканьими усами в щеголеватом двубортном костюме с гвоздикой в петлице, усердно помогает с формальностями. Он весь галантность и изысканность. Расшаркиваясь перед дамами, он подплывает к ним с руками, прижатыми к груди, откидывает зад и прикладывается к их ручкам, как к иконе.

Звучит малоразборчиво громкоговоритель, возвещая о полете в Аликанте. Начинается волнение, испанские проводы не отличаются от русских: кто-то прослезился, кто-то настойчиво просит писать, тараканьи усы вице-консула не отрываются от дамских ручек...

Ужда, Оран, Аликанте
Апрель, 1974

ЗОВ ОДИНОЧЕСТВА

Он прибыл с недели тому назад и остановился в фарватере перед входом в порт Аликанте, что могло означать одно из двух: ожидание очереди разгрузки, или... Он был белый с надпалубной надстройкой от кормы до носа, стройный, изящный, как цветная фотография на туристической брошюре, рекламирующей увлекательные путешествия в заморские страны.

Декабрьские дни коротки, рано темнеет, и с пяти часов дня яркие огни вспыхивают на белом корабле — не назвать его пароходом, если он двигается не паром, а дизельными моторами — и тогда кажется, что его салон заполнен нарядной публикой, с эстрады льются звуки струнного оркестра, играющего под сурдинку, снуют лакеи, разнося на подносах предобеденные коктейли.

И тогда казалось, что и дома звучала музыка, что за балконом, нависшем над морским берегом, из внутренних комнат слышался женский голос и звон посуды, накрываемой на стол... Но дома было тихо и темно. Не для кого было зажигать свет.

Неделя до самого короткого дня в году. Долгие ночи, как долги ожидания телефонного звонка. Темный балкон, ни звука внутри в опустевших комнатах. Яркий свет белого корабля в темном фарватере, только за ним, на отдаленном мысу каждые десять секунд пробегает свет маяка. Мгла над морем и залитый светом белый корабль вот уже несколько ночей — дурной знак!

* * *

«Death, the Proud Brother», заглавие рассказа Томаса Вульфа. По-русски: «Смерть, Гордая Сестра». Брат или сестра — не меняет сущности. Но при чем тут гордость!

Что можно сказать в противовес этому, не иссякая запаса нелестных эпитетов? Длительные мучения, глумливая игра то с облегчением страданий, то с усилением их — что тут гордого? В лучшем случае ты милосердна, если бьешь мгновенно, но как тебе отказаться от сладкой игры с удушием, с внутренним кровоизлиянием, с закупоркой кровеносных сосудов, смрадом разлагающегося тела, с зловещими гангренозными пятнами?

Ожидание неизбежной вести по телефону. Темный балкон, раннее наступление декабрьской ночи над черным бассейном залива, только в фарваторе, далеко от порта, как предосторожность для других кораблей, сияют огни белого корабля. Теперь ясно, что ждет он после нескольких дней и ночей: очереди входа в аликантинскую верфь, где его ацетиленовым пламенем разрежут на куски для переплавки в сталь.

15-го декабря. Неделя до самой длинной ночи в году. Телефонный звонок по дальнему проводу: «Умерла несколько минут тому назад».

Как всё вдруг делается пустым и омертвелым! В открытые двери балкона тянет сыростью раннего вечера. В заливе темно, нет больше огней белого корабля. Две смерти в один день.

ВНИМАНИЕ: ГОВОРИТ РАДИО БЕССОННИЦА
на волне артериосклерозных вен!

Прослушайте ассигнованный вам час о ламентациях Навуходоносоровой болезни — «всё тлен и мрак и раннее забвение», о плаче у стен вавилонских, о головокружении и серцебиении... Бесконечные ночи, ни полусон ни полузабытие, глаза, уставленные в темный потолок... «Мысли, как черные мухи...» Гнать, гнать их от себя — саможалость — один из семи смертных грехов, тягчайшее преступление против самого себя.

Сентябрь — лучшая пора, когда схлынул августовский зной, как и поток туристического нашествия с севера, и Аликанте вновь стал притихшим очаровательным городом.

Тихо и на море, меняющем ежечастно краски от изумрудных тонов до цвета бургундского вина, когда малиновый закат нависает над аликантинскими горами и старой крепостью Святой Варвары.

Балкон и смежные комнаты залиты солнцем. Цветы картины, ковры, вышитые её рукой подушки на диване, книги, всё так, как было прежде до её болезни и смерти. Надолго ли останется так? Что случится, если неожиданно падение на улице, толпа зевак вокруг, сирена приближающегося амбуланса, или замирание жизни в тягостном одиночестве в бесконечно длинной ночи?

Кому оставить эти светлые, хорошо обжитые комнаты, которые, казалось, до сих пор ещё живут отзвуками Баха, Бетховена, Брамса, Малера? Кто будет любоваться морем, видом города, набережной, обсаженной пальмами, сидя на залитом солнцем, утопающем в цветах балконе?

> Пожилой вдовец готов завещать отличный апартмент на берегу Средиземного моря доброй, хорошей женщине. Писать P. M. №.

М. Г.

Сижу на лавочке в лесу Boresax, где провожу свой отдых, читаю газету и прочла Ваше объявление. Так как скучно, решила написать Вам. Как осторожно Вы пишете... Боитесь нашествия «добрых и хороших женщин?» Каким образом Вы можете определить эти чудесные качества по письмам, которые, я уверена, Вы получите сотнями. Но знаете ли Вы, что по Вашему завещанию добрая и хорошая женщина, если Вы на ней не женитесь должна будет отдать государству 80 процен. стоимости

Вашей квартиры? А вот если Вы бы захотели просто познакомиться, ну, хотя бы со мной, то не лучше ли пригласить к себе хотя бы на Рождество и таким образом узнали бы хорошая и добрая ли я? Во всяком случае, несмотря на все удары судьбы, веселая, жизнерадостная, любящая жизнь, природу, музыку и хороших и добрых мужчин... Пишу это письмо, просто чтобы позабавиться от скуки, я тут совершенно одна. Ну вот, буду рада, если напишете, я тоже пожилая вдова... Может быть Вы слыхали обо мне, может быть мы даже знакомы. Я была певицей и меня знала вся русская колония. Н.

Париж, 3 окт, 78

Вы не можете себе представить, как взволновал меня Ваш ответ. Спасибо прежде всего за то, что наконец пишет, разговаривает со мной человек моего уровня культуры, что мне не говорят ироническим тоном: «Ну, что вы делали в своей жизни, подумаешь, пели с Шаляпиным, какая же это работа! Подумаешь, ваш брат писатель-журналист, кому это нужно!» и всё в таком роде. (Если моё письмо будет неровным, не логично развитым, не удивляйтесь, мне необходимо высказать всё, что накопилось и наболело в душе, Вашему письму, в его искренность я сразу поверила...) Да, я буду счастлива познакомится с Вами... А надо познакомиться, а вдруг Вы скажете, как гоголевский жених, что и нос у меня плохой и т. д. Право же приезжайте. Не тужите по любимой жене, ей, если она Вас любила крепко, тяжело ОТТУДА видеть Вашу тоску и одиночество. Н.

Лондон, 18 сентября, 1976

Пишу Вам из Лондона, куда приехала «из далекой знойной Аргентины» и куда скоро возвращаюсь.

Прочла Ваше объявление, оно меня привлекло, не так комфортабельной квартирой, (я сама обеспечена), как Средиземным морем. Море я очень люблю, я родилась

на берегу Черного, это знакомая и родная мне стихия.

Вы ищите хорошую и добрую женщину; писать о себе очень трудно, думаю, что этот термин мне схож, т. к. родные и знакомые считают меня такой. Прибавлю еще только, что очень люблю людей, природу, красоту, жизнь во всех ее проявлениях, люблю семью с ее хлопотами, уют, хороший стол. Знаю несколько языков, испанский, английский, французский, сербский.

Страшусь одиночества, которое узнала недавно. Напишите о себе, давайте познакомимся ближе. Е.

Здравствуйте добрый незнакомец шлю вам привет из Парижа, где я живу. Поняла что вы одинокий вдовец: одним словом мы в одном положении.

Думаю что вы мне ответите! В ожидании желаю вам много хорошого — Таня.

Rouen, 16 - 9 1978

Уважаемый господин!

Прочла ваше объявление в Русской Мысли. Я понимаю, что вы не хотите отдать вашу квартиру правительству и желали бы, чтобы русская дама её получила. Но я не знаю, какие ваши условия.

Что касается меня, я преподаю русский язык в гимназии. Мне 50 лет. Я не замужем, была со своими родителями, заботилась о них, а теперь одна живу, и тяжело.

Ожидая ваше письмо, желаю Вам всего хорошего. Г.

Tournan en Brie, 14-9-78

Многоуважаемый Господин!

Прочла Ваше объявление в газете «Русская Мысль» и решила написать. Дело не в завещании, которое Вы предлагаете. Я не только по своей натуре никому не желаю смерти, но и по специальности, так как 28 лет проработала врачем в столице М., стараясь помочь страдающим и отдалить час смерти. Мне 65 лет, вдова. Муж умер от

рака. Я осталась одинокой и в этом году решила переехать во Францию и перейти на пенсию.

Привыкнув к жизни на юге, мне очень хотелось бы переехать на берег Средиземного моря. Напишите мне пожалуйста на каких условиях может быть осуществлено мое это желание. Сколько Вам лет? Нуждаетесь ли Вы в специальном уходе и т. д.

С надеждой на Ваш скорый и благоприятный ответ и с наилучшими пожеланиями. О.

Prayon, 19.9.1978

Многоуважаем Госpodin!

Прочитав Ваше об'явление в «Русской Мысли» (газете), я решила Вам написать пару слов. Ваша квартира меня не интересует мне Вы интересны как человек. Я сама у меня нету около меня никого был муж но ушол нислова не говоря и без сор никаких не могу придумать за что так сделано конечно из за женщины. У меня все есть мне ничего не надо толко нуно доброе слово и человечность. Если хотите написать и мне ответить буду очень рада Вашей весточке. Получу ответ напшу более подробно о себе.

С дружеским приветом Катя

Gaillard, France

Не знаю как к Вам обратиться.

Прочла Ваше объявление в Русской Мысли и меня интересует или Вы его написали для юмора или же Вы действительно не из счастливцев, так как одиночество считаете нечастием.

В первом случае Вас понимаю, так как сама веселого нрава. И во втором тоже и сочувствую от всего сердца и если могу чем нибудь помочь, то с великой радостью и охотой, так как сама осталась одна и понимаю это горькое чувство одиночества. А если и здоровье заставляет желать лучшего, то конечно приятно иметь друзей.

которые бы были искренни и полезны. По натуре я не материалистка.

Мне почему-то кажется, что Вы живете в Испании. Мне очень нравится эта веселая страна с такими чудесными памятниками старины. По-испански я тоже говорю. А главное, чудный климат. Люблю солнце и море.

Если хотите, то напишите, чем могу Вам помочь.

Желаю Вам всего хорошего и светлого. Т.

Mallali, France

Уважаемый Господин!

Четыре дня тому назад я послала Вам письмо относительно Вашего желания найти хорошую добрую женщину, а сегодня хозяйка сказала, что в полдень какой то господин пришел и спрашивал обо мне, а я как раз вышла за покупками. Какая досада, ведь надо же было так случиться! Такое несчастье! Теперь буду сидеть все время дома. Не знаю, когда Вы ещё прийдете. Поля.

15 - IX - 78. Eschborn, Germany

Уважаемый господин!

Ваше об'явление в «Русской Мысли» звучит очень соблазнительно. А жизнь, порой, невыносимо трудна.

В 1971 году наша семья, мой муж, сын и я, уехали из СССР на запад. Позже мой муж встретил молодую женщину и, решив, что я для него стара, оставил нас с Мишкой одних. Мне 46 лет, а сыну одиннадцать. Живем мы в ФРГ, неподалеку от Франкфурта. Я работаю, Мишка учится в шестом классе.

Мы с ним очень одиноки, у нас на западе никого из родни нет. Приезжайте к нам в гости. Миша забывает русский язык и мне от этого очень грустно.

Мы снимаем двух-комнатную квартиру, но место для гостя у нас всегда найдется. Приезжайте!

С уважением, В.

Enchenberg, France, 14 - 9 - 78

Уважаемый господин,

Прочитав Ваше объявление в «Р. М», желаю вести переписку с Вами как дочь с отцом или сестра с братом. Никаких других целей не преследую. Мне 56 лет. По получении ответа от Вас напишу больше о себе. А до тех пор всего Вам доброго.

С искренним уважением к Вам, Л.

Teheran, 16. 9.78

Уважаемый № 3725.

Я очень интересуюсь приобрести место для отдыха на берегу моря. Здесь очень высоко и я чувствую усталость. Отдых одному человеку — не отдых.

Завещание желательно, но не так необходимо. Я вдова, но не одна. Имею взрослую дочь, незамужняя, которая потеряла отца в возрасте одного года... Родных никого нет. Очень одинока... Если желаете, сообщите кто Вы и где Вы находитесь. Я имею возможность приехать.

С приветом, В.

Париж

Многоуважаемый Господин!

Я Вас умоляю мне объяснить что Вы называете завещать квартиру доброй и отличной даме. Жду ответа как ласточка лета. Valeria

Аз съм българка. Живея при синъні си в Швеція, Стокхолм. Но младшіе са млади и не желаят до живеяні с родниіни. Живопіъні ми е празен, имам само 1 деніе.

Бих и скала да се грижа за някого, да знам, че съм полезна на някого. Медицинска сестра съм. Аз съм 50 години, нежна, дребна, финна, но здрава и силна.

Пожелавам Ви здраве и успех, обадете се, ако считате, че писа смисъл!

С поздрав! Атанаска

Paris, 9.IX.78

Добрый день!

Весь день у меня был необычный, а вечером прочитала Ваше необыкновенное объявление. Из него поняла только, что Вы очень одиноки. Я тоже считаю самым прекрасным качеством человека доброту, но не каждой же женщине, которая напишет, что она хорошая и добрая, (а человеку свойственно считать себя хорошим, кроме тех моментов, когда его мучает совесть) Вы собираетесь завещать квартиру.

Я с удовольствием жила бы на берегу Средиземного моря, хотя видела его только из окна вагона, проезжая из Софии в Париж.

Желаю Вам радость и здоровье. Н.

Zurich, 6 октября 78

Многоуважаемый Господин!

Ваше объявление в «Русской Мысли» меня заинтересовало. К сожалению мне неизвестны подробности Вашей жизни — есть ли у Вас дети, сколько Вам лет, где живете...

Скажу несколько слов о себе. Муж мой давно умер, я живу в Швейцарии с дочерью и внуком 14-ти лет. Пришлось пережить много тяжелого, и главное, чего я ищу в человеке — это простота и доброта.

Будьте добры, напишите мне подробно о себе и своей жизни. С уважением, Н.

Erlahgen, 8 октября 1978

Многоуважаемый Господин!

Прочитав Ваше объявление в «Русской Мысли», я долго колебалась, но все-таки решилась написать Вам.

Два года тому назад я приехала из России к дочери в Зап. Германия. Дочь моя замужем за немцем. Живу эти последние два года с ними.

Я — русская, киевлянка, характер у меня покладистый, религиозная, хорошая хозяйка, энергичная. Мне кажется, что я написала почти всё о себе.

Я хотела бы очень остаться на Западе и для этого мне нужно было бы выйти замуж. Я буду за Вами ухаживать (если Вы в этом нуждаетесь).

Жду Вашего ответа. С наилучшими пожеланиями. М.

Boulogne-Billancourt

Многоуважаемый Господин X!

Вы наверно ищите женщину которая согласилась за Вами ухаживать до конца Вашей жизни. Я хотелаб иметь друга-мужа я вдова 69 лет. Я никогда не болела в своей жизни до сих пор. Выгляжу на свой возраст очень молодо. Я даже не хотела бы чтобы мне записывали дом свой. Я хочу во первых иметь симпатичного человека. У меня есть немного сбережений и можно свои последние дни прожить в согласии и мире. Н.

Le Blanc-Mesnic, 10-X-1978

Почетному директору Зинаиде Шаховской.

Дорогой друг! Из газеты Р. М. мне стало известно следующее: «Пожилой вдовец готов завещать отличную квартиру на берегу Средиземного моря доброй хорошей женщине». В кратце расскажу о себе. В 1965 году с мужем приехала в Париж на постоянное жительство... Я осталась одна без родных и близких. Мне 57 лет, образование высше-среднее, а также музыкальное... о себе рассказывать как-то неудобно, т. е. расхваливать — все же вышеуказанными качествами я конечно обладаю. Тяжело одинокому...

Прошу Вас со слезами на глазах и сердце помочь если это зависит от Вас связаться с господином и что нужно чтобы достичь этого.

Будьте добры, не посчитайте за труд — посоветуйте, как мне быть. Обязуюсь если это необходимо вести хо-

зяйство, уделять ему всестороннее внимание и помощь. Заранее буду Вам бесконечно благодарна если увенчается успехом не останусь в долгу. Н.

Без даты, адреса и подписи

Любезный друг о Господе!

В эти дни Ваш почтовый ящик переполнен. И не удивительно: кто не считает себя хорошей и доброй? Кто игнорирует свои достоинства и не возносит себя до небес? А милых русских вдов не мало по белу свету. Конечно найдутся и на Ваш вкус. Но письмо с фотографией ещё не критерий. А вот пойти в Храм Божий и положиться на внушения Духа Свята и Он научит Вас и видеть истину и сердце познает куда ему склониться. А чтобы открылся духовный взор, что лучше исповеди и причастия Божественных Христовых Тайн?

Ах, как тепло быть с Господом!

Бог на помощь. Пресвятая Богородица Спаси нас.

* * *

ГОВОРИТ РАДИО БЕССОННИЦА

Прослушайте комментарии на зов одиночества и отклики на него.

Начать с угрызения совести, что, поддавшись минутной слабости, можно было решиться на подобный поступок и всколыхнуть мир доверчивых душ! Но даже в этом злодеянии есть смягчающие вину обстоятельства: беспокойные дни и бессонные ночи, ощущение смерти, уже посетившей этот приятный, солнечный дом десять месяцев тому назад, и чуствуемой вблизи, за плечами в одиночестве тех же дней и ночей, с тревожными мыслями о том, что случится после внезапного посещения этой «гордой сестры».

Память может хранить десятки симфоний, опер, сотни арий, романсов, песен, неисчислимое количество сти-

котворений, прочитанных книг, впечатления от встреч, искомых и случайных, аромат растений и женских духов, краски закатов и моря в различные часы. Всё это может хранить память с умиротворяющей прелестью обновления в сгущающемся свете сумерек жизни, пока не настанет момент отмирания — и тогда всё это бережно хранимое, что не может быть завещено никому, исчезает «как с белых яблонь дым».

Но остается другое: сундук с золотыми дукатами скупца, перезаложенный дом, дача у озера, дедовские часы с боем, пачка любовных писем, перевязанных выцветшей лентой, что с собой не возьмешь.

Золота нет, как нет и перезаложенных домов, но есть залитый солнцем апартмент с просторным балконом, свисающем над морем, цветы, грамофонные пластинки опер, симфоний, концертов, книги и среди них редкие издания прошлого столетия Толстого, Достоевского. В чьи руки—бережные или небрежные—попадет всё это?

И вот — импульсивное движение, скоропалительное, но всёже искреннее, отозвавшееся живыми откликами одиноких душ! Добрые и хорошие женщины! Как это звучит пленительно. «Конечно, этими качествами я обладаю...» «Не каждой же хорошей и доброй женщине...» «Пресвятая Богородица...»

Если обращение к хорошим добрым женщинам может показаться недостойной игрой с «заранее обдуманными негодными средствами», побудившее позже раскаяние и угрызения совести, то опубликование откликов на него должно предстать, как явное нарушение обычных норм приличия и конфиденциальности. В частичное оправдание можно указать на то, что из приведенных писем — оставленными, как они были получены, с грамматическими погрешностями, пренебрежением к правописанию и знакам препинания — было выпущено всё, что могло бы опознать их авторов. Остались только даты, города и инициалы вместо подписей.

Но что ценного в них: многоголосая песнь одиночества на все лады и перепевы! В них искреннее чувство, бескорыстное желание разделить тяжесть его с другой одинокой — и поэтому родственной — душой, и жертвенность, готовность служить, помочь, согреть человеческим теплом и любовью.

И сколько в них сдержанной боли, ранних разочарований, несбывшихся надежд, что усугубляет угрызение совести, так как в обращении к «добрым и хорошим женщинам», несмотря на искреннее и открытое побуждение, всёже таился элемент обмана, сомнительная игра с обещанием, обнадеживание доверчивых душ.

С другой стороны, в откликах на зов одиночества проскальзывает и нечто другое: практический расчет, уверенность в своей избранности, торгашество («Какую вы хотите компенсацию, деньгами или натурой?»)

...Ещё одна бессонная или полусонная ночь близится к концу... С аэродрома Аликанте поднимается ранний аэроплан, тревожа предрассветную тишину на пути в Барселона. Новый день, новые письма.

* * *

Гамбург, 11 - IX - 78

Уважаемый господин!

Ваше объявление в «Русской Мысли» заинтересовало меня не из-за своего соблазнительного содержания, а из-за желания окружить мою мамочку русскими людьми старшего поколения.

Дело в том, что пишет Вам дочка одной интеллигентной, интересной, верующей дамы, дворянки, внучки известного русского философа Д., которая ещё живет в СССР, но если всё благополучно сложится, то через год переедет на постоянное местожительство ко мне.

Мамочке моей 64 года и душа у нее замечательная, но я боюсь, что, когда она будет в отрыве от родины, ей будет не хватать всего русского ..

...мне очень хочется чтобы у моей мамули за границей появилось бы хорошее окружение, а если у нее появится и личная жизнь, то это после всех трудностей, что она пережила, будет для меня большой радостью, т. к. сумеет продлить ее жизнь и подарить мамуле несколько счастливых дней...

С искренним уважением Ваша И.

Colombes, 9 - IX - 1978

Дорогая Верочка!

На всякий случай шлю Тебе содержание маленького объявление пожилого вдовца.

Напиши обязательно все что сумеешь самое лучшее о Себе: что Ты ухаживала за пожилыми людьми и что у Тебя есть большой опыт и несмотря, что Ты работала в ООН у Тебя все время была с некоторыми, оставшимися при жизни очень многая переписка и полезная для них одиноких т. к. Ты им делала маленькие подарки на Православные большие праздники.

Ничем не рискуешь, а хорошо писать умеешь. Напиши на машинке, легче читать. Целую, Твоя Муся.

Женева, 21 сен. 1978

Многоуважаемый Незнакомец,

Как видите из прилагаемого письма получила весточку о вашем объявлении от своей коллеги из Парижа. Она очень хорошо ко мне относится, мы много лет сидели с нею в бюро, и вот ей хочется устроить мое счастье.

Трудно писать о себе много красивых вещей, а поэтому я решила просто напросто переслать вам ее письмо. От себя же могу добавить несколько биографических сведений. Я выехала из Севастополя в 1920 году, закончила Девичий институт в Югославии, затем меня отправили в Бельгию (как сироту) для совершенствовании во французском языке. Пробыла год в пансионе, а затем год в Лувенском университете и вышла замуж.

...работала как медсестра... работала в Доме для престарелых, это верно, что я много времени отдаю пожилым людям... Мне было бы очень приятно встретить симпатичного культурного человека, с которым можно было бы скоротать свою жизнь, а также помочь ему в его одиночестве.

Вот и все, пока не получу от вас ответа. Во всяком случае желаю вам всего доброго и найти желаемое. В.

Ницца, 14 - IX - 78

Милостивый Государь,

Случайно прочла Ваше объявление в «Русской Мысли» и решила, что это должен быть хороший человек... Пишу не для себя, а для моей подруги.

Она 25 лет тому назад поехала на очень хорошее место в одну из северо-африканских стран быть секретаршей Министра Иностр. Дел... и все было хорошо до переворота... Жизнь стала невозможна, риск на каждом шагу получить случайную пулю... При этом правительстве она продолжает работать в министерстве. Она хорошо знает дело, языки и её ценят (все белые разбежались), но она мечтает уехать, как только кончится её контракт.

Но у неё на это мало надежд, т. к. её сделали гражданкой той страны, и т. к. все её экономия, машина, мебель там, то вряд ли её выпустят. Сейчас она в Ницце, отпустили на месяц. Единственный выход найти человека, который согласился с ней обвенчаться «par procuration» (без всякого с его стороны обязательства), что ей дало бы возможность вырваться из этого ада!!!

Если Вы тот человек, которого я ищу для нее, буду рада, если откликнетесь. Привет. S.

Grenodle, 13 сен. 1978

Уважаемый соотечественник,

Вот, еще одно письмо Вам «для коллекции». Вероятно Вы получили массу писем и со временем, с таким ма-

териалом можно создать целую повесть. Это письмо Вам могло бы быть и ненаписанным если бы не пришло мне в голову спросить Вас далеко ли Вы живете от Тулона, где находится мой сын. Кратко опишу Вам в чем дело. Я из «второй волны», попала девочкой случайно в Париж, потеряв родителей. В гостеприимной Франции постепенно прижилась вырастила троих сыновей. Говорю вырастила т. к. муж мой или мало занимался да и давно уж с нами не живет.

Старший мальчик 11-ти лет попал под автомобиль и очень тяжелые от этого последствия. У него пропали некоторые нервные центры после травматизма черепа и теперь он совершенно не приспособлен к самостоятельной жизни. Некоторые умственные способности незатронуты и он продолжает много читать на двух языках, делает переводы и начал учить немецкий язык... Ему не хватает поговорить, «пофилософствовать», поговорить по русски и вообще иметь почаще визиты. И вот, прочтя Ваше необычное (и такое уж славянское!) объявление и как-то почуяв, что Вы добрый и хороший человек, да ещё одинокий, пришло мне в голову попросить Вас конечно по мере возможности навестить его или написать ему письмецо, с конвертом и обратным адресом.

... осмеливаюсь ставить мою кандидатуру на добрых и хороших женщин. Не знаю, как Вы будете в оных разбираться, но могу предложить Вам маленькую помощь приезжайте к нам в гости в Гренобль.

Ну вот, необычное Вам письмо за Ваше необычное объявление. С уважением, Г.

Offenbach aM, 22.09.197[illegible]

Уважаемый господин,

Я прочитал Ваше объявление в «Русской Мысли» и решил написать.

Моя мама живет в городе-курорте Израиля Натания После того как мы уехали из России 2 года назад она

оказалась в Израиле, а я переехал в Германию. После того как она развелась с мужем около 10 лет назад она чувствует себя очень одиноко и хочет найти друга. Я очень хочу помочь ей в этом т. к. знаю что значит быть одному в пожилом Возрасте, а ей уже 57 лет.

Ваше объявление будет для неё несомненно интересным и не столько в смысле квартиры (у нее у самой чудная 3х комнатная квартира с видом на Средиземное море) сколько думаю, что она могла бы быть для Вас хорошей подругой.

Мама — чудная хозяйка, чудно готовит, она честная, прямая и заботливая женщина.

Пожалуйста, если Вы заинтересовались, то напишите мне или прямо маме. С уважением к Вам, Лёня.

* * *

Если в предыдущих письмах превалировал мотив помощи и жертвенности со стороны «добрых хороших женщин» в отношение «пожилого вдовца», вплоть до готовности связаться матримониальными узами, то в последних откликах на зов одиночества «доброта и хорошесть» определяются теплыми заботами об одиноких подругах и дорогих мамочках.

Но «Нельзя объять необъятное», как тонко отметил Козьма Прутков. С другой стороны, нельзя не вслушаться и в разумное наставление Дон Аминадо, что «На чужбине и старушка Божий дар».

Узы Гименея — прочь, если представить «одинокого вдовца» в одну из пугливых ночей «при нотариусе и враче», при свете одинокой свечи, начертывающего дрожащей рукой обращение к «добрым хорошим женщинам»

По правде сказать, что о «женах непорочных» не было и мысли, как нет и сейчас. Меньше всего думалось о подругах и мамах, нуждающихся в помощи и преумножении своего недвижимого имущества.

* * *

Ещё один пакет с письмами, из которых только два заслуживают увековечения.

Без даты и адреса

Многоуважаемый неизвестный пожилой вдовецъ!

Меня не интересуетъ Ваше завещаніе. Для меня важно Ваше происхожденіе и Ваша культура? Я тоже вдова и хочу знать Ваши требованія отъ «хорошей, доброй женщины». Позвоните по телефону утром для дальнейших сведеній. Уважающая Вас, L. de B.

Париж 8 - 9 - 1978

Прочтя Ваше объявление в журнале Р. М. пишу Вам без какой либо корыстной цели. А только желая познакомиться. Я тоже вдова. Мужа потеряла совсем недавно. Так что для меня все это слишком свежо..

8 - 10 - 1978

...Очень Вам презнательна, что Вы интересовались литературной деятельностью моего мужа... Писал стихи, статьи, рассказы, давал отзывы о книгах других авторов. Печатался в газетах и журналах... Это то, что нас так тесно связывало в жизни и в чем я была ему верной помощницей и горжусь этим. Так как сама люблю литературу, искуство, музыку. Но терпеть не могу модерщину. В этом мы всегда сходились и мнением и взглядом... Ваша книга «Свет пламени» дает большую картину. Но не сердитесь на меня. Я строгий критик и хочу Вам зделать замечание. Буду человеком старой культуры как я, зачем ломаете Вы язык и пишите на каком то жаргоне? Вы уподобаетесь Солженицыну? Или живя за границей, Вы разучились писать по русски? Что написано кратко, это хорошо. Ничего нет нудней, когда слишком расписанно. Но есть фразы просто не понятные и даже не оконченные. Разьве Вас никто не цытировал? Ведь это не простительные ошибки.

...к сожалению не имею возможности посетить Вашу солнечную Алеканту. Прейдется Вам, кроме Лондона, посетить еще и Париж. Но моё убогое жилище, после Вашего юга, Вам покажется слишком мрачным. Пожалуй еще испугаетесь. Всё зависит от Вас. Приезджайте хоть завтра. А то лучше подождите две недели. Как я в трауре по усопшем то обязана соблюдать себя.

Желаю Вам всего наилучшего. А.

* * *

На запрос Madame de B. о происхождении ответить легко: как славный отпрыск графа Люксембург и Веселой Вдовы, се покорный слуга может с честью сказать, что как и в её верикозных венах, так и у него течет голубая кровь. Ответить на запрос о культуре труднее.

Начать с того, что все мы — люди культурные, тут уж не может быть двух мнений! Все мы ужасно преданы ей, цивилизации, наукам, любим до безумия поговорить об умственном, любим культурно выпить и закусить, перекинуться в картишки с таким же культурным человеком, обожаем деликатность в обращении, не любим, когда при нас громко сквернословят, если можно выразиться тихо.

Конечно, культура культуре рознь, смешно было бы не согласится с этим! В сущности говоря, самая достойная — старая культура. Сказать о себе: «Я человек старой культуры», так же значительно, как прибавить частицу de к фамилии мадам Баранова. Как-то чувствуешь себя выше ростом, больше уважаешь самого себя.

Но быть представителем старой культуры недостаточно, надо ещё быть светочем, возженным факелом, сверкающей люстрой для людей других низших культур, чтобы они, жмурясь от яркого света, слепо шли за избранными. Надо быть ещё и мудрым наставником, строгим критиком, законодателем вкусов. Неплохо при этом для пущего блеска щегольнуть иностранным словом, неваж-

но, если оно сказано невпопад, как «цЫтировать» вместо «корректировать», «курорт» вместо «фурор» и тому подобное. Блеснуть можно также чеканкой нового словца, как, например «модерщина». Если к этому пристегнуть имя Солженицына — ныне и без того довольно затасканное, то к громкому званию «человека старой культуры» можно добавить степень начитанности, не обязательно читая его.

* * *

Ещё одно письмо, последнее, как заключительный аккорд многоголосому хору одиноких и неодиноких душ.

* * *

Вена, 19 сент. 1978 г.

Дорогой друг!

Простите это обращение, другого не могла я подыскать. По объявлению в газете я пишу первый раз в жизни, но мне так интересно (скорее любопытно) было узнать, что есть люди, которые готовы что-то завещать, в то время как все другие продали бы квартиру и ушли бы в старческий дом, где бы и прожили все вырученные за это деньги.

Вы же готовы это сделать для доброй и хорошей женщины. Но можно ли быть достаточно доброй и достаточно хорошей, чтобы принять безвозмездно такое дарение. В таком случае разум и сердце диктуют очень разные, и даже противоречивые возможные ответы: реальные и идеальные.

Как бы то ни было, цель моего письма не заглядывать Вам в душу, а толкало меня на него только какое-то неудержимое желание поблагодарить Вас за эту идею и ещё за то, что Вы верите, что есть ещё хорошие и добрые женщины. Большое Вам спасибо за всех женщин!

Простите, что ограничусь я одной этой благодарностью. Желаю Вам успеха, здоровья на многие, многие годы и человеческого признания.

Рика (так звали меня девочкой)

«Проходит тысяча мгновенных лет...» О, нет всего два года со дня обращения «пожилого вдовца к добрым хорошим женщинам». Внешне мало что изменилось с тех пор: тот же залитый ласковым сентябрьским солнцем балкон, свисающий над морем, цветы на нем, располагающие к лени шезлонги, позвякивание льда в стакане виски или джина. То же движение на море, цветные и белые паруса, гонки водяных лыжников, визг купающихся детей, лай оголтелых от радости собак.

За это время на том месте, где покоился на якоре белый корабль, перебывало десятки других кораблей, ожидая входа в порт Аликанте и оттуда в верфь, обреченные на слом. Но и образ белого корабля, связанный с образом смерти, не вызывает прежнего волнения. Взамен покоится умиротворяющее чувство признание неизбежного, примирения с судьбой, даже принятие одиночества, как благодатную форму в сумерках жизни.

Вот это внутренние изменения. Замолкло радио «Голос Бессонницы»,прошли головокружения, притихла эрратическая гонка пульса. Даже угрызения совести, раскаяние по поводу легкомысленного обольщения доверчивых душ не так уж терзают, как прежде. Приведенные выше письма свидетельствуют, за немногим исключением, о доброте, заботах, готовности помочь, разделить тяжесть одиночества и в этом отношении заслуживают внимания и благодарности.

* * *

Что же сказать в заключение? До старческого дома не дошло и по-видимому не дойдет. Обещание, или «готовность», как было сказано в обращении к «добрым и хорошим женщинам» выполнено, не так, как предполагалось вначале, но с полным учетом условий о добрых, хороших качествах.

Сентябрь, 1980
Аликанте, Испания

ЕЩЁ О РАДИО БЕССОННИЦА

Ночь, бессонница... понедельник...и придумал какой то бездельник... Благословенный дар — уметь отгонять от себя ненужные — и вредные — мысли и заполнять голову — без того хорошо унавоженную — всякой чушью. Это мирит с длинной ночью, с прислушиванием к морскому гулу за балконом, к шуму в ушах, к биению пошаливающегося сердца.

Бич Божий

В ранние тридцатые годы, если не в золотой, то позолоченный расцвет эмигрантской литературы, Александр Амфитеатров, маститый писатель, известный ещё с конца прошлого столетия, сказал: «Стихи в Зарубежьи — бич Божий». Тогда ещё жили Г. Иванов, Ладинский, Довид Кнут, Цветаева — назвать только несколько имен!

Что же произошло за последние пятьдесят лет? Тут уже не бич, а сущее наказание, особенно, когда пишут безработные, духовные особы высокого чина, старички и старушки, выслужившие пенсию.

* * *

Как в старое то время писали: «Сияла ночь восторгом сладострастья!» Подумаешь! Теперь так не пишут. Теперь пишут так: «Восторг сиял в объятьях сладострастья». Лучше? Несравненно! Главное — не понятно.

Сколько ахматовских колец было заброшено в тьму за эти годы пожилыми поэтессами от Сан Франциско до Сиднея и от Торонто до Тайнана? А сколько непоседливых пенсионеров облачались в синие плащи Блока и удалялись в ту же тьму? Есть над чем задуматься, когда не спишь, приговаривая: «Ах, что делают!»

Но это так сказано о стихах. О стишках зарубежных речь другая! Есть такие умилительные стишки, духовные и светские, что невольно прошибают слезу. А назидательности в них, а пользы от чтения их не только для юношества, но и для пожилых — ну! А самовеличия их сочинителей, а уважения собственного достоинства! Рукой не достанешь!

Взять хотя бы некоего Перелешина! Мало того что на футбольном поле всезарубежного Парнаса он ставит себя на четвертое место (неизвестно, выше или ниже сочинителя Странника), он ещё великий среди великих. Об этом он повествует так в одном из своих сонетов:

Напор тяжел, но не прорвется шлюз:
Заклятием положены сонеты:
Вот я — Шекспир второй Елизаветы...

Во втором варианте стишок звучал бы понятнее, особенно принимая во внимание, что сочинителю под 80:

Вторичной юностью прогретый,
Заносчиво пробился ус.
Вот я — Шекспир...

На ты и за руку с Шекспиром, Перелешин в том же стишке восклицает: «Бессмертные, друг другом мы воспеты». Слышится их разговор при встрече: «Ну, как ты, Шекспир, ничего?» «Слава Богу! А как ты, брат Валерий, ничего?» «Тоже слава Богу!» Такие оба оригиналы!

О литературе

Что сказать о советской литературе, прибитой партийным копытом? Что можно ожидать от неё в смрадном удушии правящих кретинов, для которых важно одно: «не пущать».

Правда, пожалуй упадок в литературе и искусстве повсюду. Человек не может делать замечательные автомобили и писать хорошие книги. Талант, «духовный свет и драгоценное знание» (Георгий Иванов) заменились ремесленной техникой, дешевой сенсационностью.

Не так ещё давно, будучи в передовых рядах мировой литературы, американский писательский мир вышел в шестидесятых годах на широкий путь массовой еврейской мастурбации («Portnoy's Complaints» by Roth и его последователи).

Литература «полит-каторжан»

Третья эмигрантская волна выплеснула в Зарубежье весьма сомнительный — за малым исключением — элемент. В большинстве это советские люди литературы и искусства, как говорили в старое время, «пострадавшие у себя на родине за свои убеждения».

Самое выражение «полит-каторжанин» таит в себе ряд оттенков. Так, например, страдалец, отсидевший сколько полагается за битьё фонарей по пьянке, может присвоить себе это звание и украсить свою главу венцом мученичества.

Попав заграницу, большинство из них, имевших то или иное отношение к писательству, пристроилось в Мюнхене при американских учреждениях, Радио Свобода и Радио Европа на многотысячные долларовые оклады щедрого до глупости Дяди Сама за две радио передачи по пять минут в неделю. Откормившись до бороды у жирного американского пирога, эти недавние ещё «поборники прав человека» у себя на родине, быстро сколотили себе капитальчик, обзавелись автомобилями Мерседес, неслыханной до этого роскошью, дорогими любовницами. Их ряды не без обычной прослойки стукачей, провокаторов, тайных и явных советских агентов. Они у себя дома в каторжном жанре (даже если понаслышке), это открывает им двери в печать, в издательства.

Из этих полумарксистов-шкурников (некоторые из них хранят советские паспорта, как реликвию) на первом месте по беспардонности, наглости, хулиганству, сквернословию стоит некий Синявский, автор постыдной книги «Прогулки с Пушкиным».

«Наш то»

В этом занятном выражении явно звучит подобострастие. «Наш то, слышали, дуба дал!» По классификации гробовщика из «Двенадцати Стульев» Ильф и Петрова «дать дуба», может только человек высокого чина.

«Наш то, превосходительсто, шалун! Сейчат так прижал в коридоре, до сих пор ребра трещат», сказала горничная, входя в кухню и заправляя блузку.

«Нашего Исаевича», восклицает З. Шаховская, редактор парижской Русской Мысли в передовой (10 мар. '77).

Ещё о Солженицыне

Спору нет, что в упадочном пребывании литературы Советского Союза Солженицын — после Пастернака — большой писатель. Из всего написанного им, лучшее «Один день И. Д.», «В круге первом» и «Раковый корпус», особенно, если читать их в хорошем переводе. Вещи эти в основном — фотографическое воспроизведение своего быта. Только в некоторых случаях, как в сцене со Сталиным на даче, у писателя прорывается творческое воображение. Но причем здесь Толстой и Достоевский, с корыми роднят Солженицына наперебой все, зараженные страшным недугом наших дней — культом личности!

От такого поклонения невольно может закружиться голова. Отсюда взятая на себя роль блюстителя нравов, бесстрашого поборника права, мудрого наставника. Отсюда суровое письмо московскому патриарху, псучительные американские речи, обвинение запада в малодушии, обида, что его не пригласили в Белый Дом к президенту.

Всё это хорошо, живя за стальным забором, чуть ли не с цепными собаками в тихом штате Вермонт. А вот другая картина: холодная ночь под Москвой. Зек Солженицын греется у костра, без стражи в лагере «шарашки» Марфино. Вблизи с час плачет заключенная девушка, выгнанная на мороз стражем. Вот бы где проявить себя героем! Но в его «шарашке» («В круге первом») белый хлеб, сливочное масло... (Архип. Гулаг, III-IV с. 146-147.

Аликанте, Сентябрь 1980

СВЕТ ПЛАМЕНИ, *отзывы печати*

Книга. выношенная в уме и душе автора в течение десятилетий, посвящена тягчайшему преступлению нашего века, совершенному, яко бы, для общественного блага. Главный герой, Иннокентий Благобразов, сын почтенной семьи, становится по врожденной страсти к шпионажу, сотрудником, последовательно пяти различных разведок: китайской, английской, японской, американской и советской.

Ярко описаны быт и атмосфера китайского Вавилона — Шанхая, метания в своей безвыходности 40,000 российских эмигрантов, а главное «работа» главных в той части света в период 1939-1950 гг. разведок японской, американской и советской...

...книга представляет несомненный интерес, где автор описывает со всеми подробностями неприглядную работу всевозможных разведок, насквозь пронизанных агентами их противников.

В. И., *ЧАСОВОЙ*, Брюссель

СВЕТ ПЛАМЕНИ, недавно вышедшая книга Петра Балакшина, повествует о дальневосточной эмиграции. Сложная обстановка политической и общественной жизни, сложившаяся там, предстоит перед нами впервые в таком ясном изложении и дает возможность разобраться во всем том, через что в те годы приходилось пройти русским эмигрантам, и дает нам к тому же наглядное изображение их жизни.

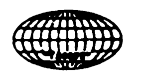
Перед нами жизнь эмигрантского семейства — «Семья Благобразовых». Вместе с ними мы переносим все дела и события, связанные с их жизнью и всякие эмигрантские проблемы. Люди остаются такими же: страсти, честь их, всевозможные события, подчас трагические, как например, в главе «Как обухом!», наполняют повесть.

Петр Балакшин вводит множество разговоров своих героев с другими эмигрантами, приводит ряд разнообразных убеждений по частным и общественным вопросам. что придает его изложению живость и изобразительность. Нужно отметить также. что язык его действующих лиц — хороший русский, в нем нет жаргона, слов советской формации, задевающих слух.

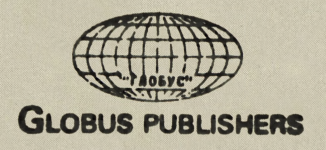
«*Выношенная в уме и душе в течение десятилетий вещь наконец получила воплощение,* — говорит Петр Балакшин. — *За это время она прошла через ряд изменений, но основная мысль осталась прежней: тягчайшее преступление нашего века. совершенное во имя пресловутого общественного блага*».

Ю. ТЕРАПИАНО. *Русская Мысль*, Париж

Напечатано в Русском Национальном
Издательстве «ГЛОБУС»



GLOBUS PUBLISHERS P. O. Box 27086,
San Francisco, California 94127 U.S.A.


"ГЛОБУС"
GLOBUS PUBLISHERS